



Глеб Станиславович Соколов Дело Томмазо Кампанелла

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=156636
Соколов Г. Дело Томмазо Кампанелла: Аграф; М.; 2003
ISBN 5-7784-0257-0

Аннотация

Стержнем романа является история одного вечера самодеятельного театра «Хорин» и его главного идеолога - артиста со сценическим псевдонимом Томмазо Кампанелла. Судьба сталкивает Томмазо Кампанелла и его коллег по самодеятельному театральному цеху с людьми, не понаслышке знакомыми с тюремным миром, чтобы в конце неожиданным образом привести их на одну из самых модных профессиональных сцен столицы, когда там проходит премьера широко разрекламированного спектакля.

«Дело Томмазо Кампанелла» - роман сложный, мрачный, отчаянный. Он относится к жанру философско-интеллектуальной прозы.

Содержание

ПРОЛОГ	4
Часть первая	28
Глава I	28
Глава II	38
Глава III	42
Глава IV	48
Глава V	58
Глава VI	65
Часть вторая	75
Глава VII	75
Глава VIII	85
Конец ознакомительного фрагмента.	86

Глеб Соколов

Дело Томмазо Кампанелла

ПРОЛОГ

Завистливый школьник в театре на премьере лермонтовского «Маскарада»

Этому вечеру в театре предшествовала небольшая история. Примерно за полгода до него завистливый ученик одной из московских школ, по примеру приятеля, увлекся электроникой. Его новейшим и, как ему в тот момент казалось, прекрасным творением был самодельный усилитель, работу над которым он вот-вот должен был закончить тем зимним месяцем.

Тогда – а это были поздние семидесятые годы – в поисках телевизоров и радиоприемников, выброшенных своими владельцами, компания школьников бродила по свалкам. Потом вынутые из этого старья радиодетали – хлам для всех, кто не был радиолюбителем, а для них – настоящее богатство – выменивались на какие-то другие детали или продавались таким же увлеченным электроникой людям, только намного старше – в условиях дефицита подобная торговля не знала спадов. В той компании, куда приняли завистливого школьника, – а он был рад, даже счастлив, что обрел столь интересных друзей, – у всех водились хоть и небольшие, но все же денежки. Но что значит небольшие?! Даже эти скромные суммы столь многое позволяли! Завистливый школьник закурил: глубоко затягиваясь дымом, он чувствовал, как кружится голова, и это ощущение представлялось ему волшебным и удивительным. Скромных доходов хватало не только на сигареты, и завистливый школьник стал потихонечку выпивать. В вине и водке тоже таились прекрасные и прежде неведомые открытия. Можно сказать, что вся эта история в театре произошла с завистливым школьником во многом из-за непривычки к вину, которую он хоть постепенно и преодолевал, а все ж таки в тот момент и не преодолел еще полностью: пить он тогда не умел, меру свою знал нетвердо, а пьянел быстро и в нетрезвом состоянии творил многое, за что потом было стыдно, и от чего, не пей он вина, наверняка бы мог удержаться.

В эти же месяцы он познакомился с девочкой. Правда, она была не очень симпатичной и не вполне ему нравилась, да и ей, похоже, не доставляло особого восторга встречаться с ним. Но встречаться хоть с кем-нибудь очень хотелось, и даже вроде бы считалось чуть ли не обязательным – школьники из их компании приходили на дискотеки и на прочие культурные мероприятия каждый со своей девочкой.

Перед вечером в театре было отмечание чьего-то дня рождения на квартире, где все школьники ужасно перепились. Особенно, как наименее опытный, напился их завистливый одноклассник. Но дело было даже не в этом, а в том, что сперва он отчего-то ужасно нагрубил своей девочке, а потом, когда они с другими школьниками отправились на улицу проявлять молодецкую удаль, упал на одной из строек, на которой они резвились, в бадью с не застывшим еще цементным раствором, оставленную строителями по обычной советской халатности. Завистливый школьник спьяну не особенно расстроился, а когда пришел домой, мать увидела, что брючки и куртка и даже шапка-ушанка безнадежно испорчены. Конечно, носить их было еще можно, но выглядели они крайне непривлекательно.

А уже на следующий вечер завистливому школьнику надо было идти в театр.

Билеты он раздобыл еще до пьянки на квартире по просьбе своей девочки. При этом завистливый школьник не знал, чем хорош спектакль, билеты на который так трудно купить,

дай в театр ему идти совсем не хотелось, так как он к нему никогда в жизни никакого интереса не испытывал.

Тем не менее, не полагаясь на собственные финансы, он выпросил деньги у матери, которая, между прочим, воспитывала его одна и лишних средств не имела.

В итоге завистливый школьник все же раздобыл билеты, но с крупной переплатой за них спекулянтке, и вот теперь ему даже не в чем было пойти в театр, потому что весь его и без того скудный и немодный гардероб был испорчен.

Надеть нечего. Не пойти – нехорошо. Что же делать?..

Стараниями охавшей и страшно ругавшейся матери был извлечен из пропахшего нафталином шкафа почти шутовской наряд: старенькие коротковатые штаны, старая же курточка, женская вязаная шапочка. По-хорошему, ему стоило остаться дома, но тогда возникло соображение о том, что сидеть дома придется гораздо дольше одного вечера. Ведь в химчистке обещали помочь, но никаких гарантий не давали, а денег на обнову у матери в тот момент не было. Впрочем, в магазине в ту пору даже и с деньгами хорошей одежды было не купить.

В конце концов завистливый школьник отправился на свидание. Девочка на это свидание пришла, но сразу заявила, что после вчерашних грубостей встречаться с ним больше не желает. Однако, принимая во внимание усилия и жертвы, с которыми, как она хорошо знала, добыты билеты, театр посетит, но добираться туда предложила по отдельности: ведь у него теперь такой вид, что ехать рядом с ним ей стыдно.

Завистливый школьник мрачно разделил билеты, и девочка, взяв свой, ушла.

Постояв немного на морозе, – а день выдался особенно холодный, – он было направился домой, но вспомнил, что день субботный, а значит – мать дома, а не на фабрике, как обычно... Идти домой, объяснять все матери, слушать ее ворчание хотелось еще меньше, чем стоять на морозе. Завистливый школьник решил забраться в какой-нибудь подъезд и просидеть в нем часа четыре, смоля сигаретки, а потом прийти домой, как будто все это время он был в театре.

Потом завистливый школьник подумал, что нет никакой разницы, где сидеть: в подъезде или в театре. Наоборот, в театре, во всех отношениях, представлялось удобнее: там нет вредных жильцов, которые обычно прогоняют греющихся в подъездах школьников.

В театре он до этого был всего один раз, еще совсем маленьким, и сейчас театр представлялся ему как-то очень слабо и неопределенно. Что-то вроде кинотеатра, только в центре города, – так ему казалось. Ну ничего: посидит, подремлет рядом с этой дурочкой... Что там два-три часа... Он сейчас не подумал о своем совсем ненарядном, потешном виде. Ему больше всего хотелось поскорее отбыть эту театральную повинность, чтобы только не огорчать мать, и вернуться побыстрее домой, паять усилитель, чтобы потом опробовать его в деле на школьной дискотеке. «Вот тогда эта девчонка, хотя она, конечно, полная дура, ему еще позавидует!» – мечтал завистливый школьник. То-то он станет героем дня!

Что до театра, то завистливый школьник по-прежнему, как и всегда, не испытывал к нему никакого интереса, а потому спектакль, на который он теперь шел, не волновал его вовсе.

Ему хотелось спать. Вообще, он пребывал теперь в крайне утомленном и безразличном состоянии. В метро завистливый школьник пытался дремать и ни о каком театре и о том, что ему предстоит в нем увидеть, совершенно не думал. «Чего там может быть такого-то?! Все это – ерунда, все эти театры. Кино – это другое, это неплохо, когда фильм захватывающий. А когда фильм скучный, тогда можно спать или курить на последнем ряду...» – примерно так относился завистливый школьник к тому, что ему предстояло увидеть через каких-нибудь полчаса.

В таком дурном и заспанном состоянии, все еще в мыслях о злосчастной бадье с раствором, которую «эти идиоты-строители как назло бросили на стройке», о своем усилителе, о том, что надо раздобыть где-то одну «совершенно не раздобываемую» радиодеталь, в таком одурелом и сонном состоянии он и вышел на улицу на одной из станций метро в центре Москвы. Где находится театр, он знал со слов тетушки-спекулянтки, продавшей ему билет. Завистливый школьник шел и дремал на ходу. Кажется, даже кровь перестала двигаться в нем. Он не шел, а плелся – только бы отбыть повинность...

«Да ну его, этот театр!.. Знал бы, как все получится, – и не суетился бы с этими билетами!..» – рассуждал в эти минуты завистливый школьник.

Он посматривал по сторонам словно с неохотой. А еще – с брезгливостью. Вернее сказать, это была обычная презрительная невнимательность человека, который знает наверняка, что вокруг нет ничего достойного его взгляда. Да уж какое там внимание!.. Разве только к очередной бадье с цементным раствором, которая может стоять где-нибудь на дороге!.. Завистливый школьник шел, как привык ходить у себя на городской окраине, уткнув нос в воротник курточки, из которой давно вырос, и пока не видел по сторонам ничего, кроме обычных, унылых картин зимнего города.

Когда до театра оставалось пройти три дома, что-то вдруг начало твориться: время странным образом сгустилось, кровь в нем по каким-то неясным причинам потекла быстрее. Один за другим, точно из-под земли, возникали на улице перед театром люди. Тут и там они притягивали его внимание, а едва ли полминуты назад завистливый школьник вообще ни на что не хотел смотреть. О, если бы завистливый школьник в ту секунду мог трезво дать себе отчет о том, что происходит!.. Но он не мог, потому что время невероятным образом стремительно уплотнялось... Здания за два – за три до театра сразу несколько образов обожгло его. Случайные уличные картины – какую связь они имели с ним?!.. Словно бы были направлены именно против завистливого школьника и страшно ранили его болезненную, похмельную впечатлительность.

Вот молодая красивая женщина с тонким удивительным лицом, одетая в изящную шубку из ослепительно блестящего меха мгновенно застряла в его воображении – точно хлесткий и страшный удар обрушился на завистливого школьника!

Тут и там люди завораживали его так сильно, что он не мог отвести глаз. Вот человек в белом шарфе и с непокрытой головой ступил из такси на мороз и важно миновал несколько шагов до подъезда, держа руки в карманах и ни на кого при этом не смотря, – он даже чуть не сшиб зазевавшегося завистливого школьника. Этому человеку в белом шарфе еще предстояло сыграть свою роль в вечере в театре. А в тот момент из вихря впечатлений, произведенных этим человеком, в сердце завистливого школьника остались только гордая непокрытая голова, и белый шарф, и надменное, удивительно умное лицо... Кто он? Завистливый школьник скрутил вслед ему шею, споткнулся обо что-то, упал – вдобавок на улице перед театром было слишком скользко. Но встретить дворника было теперь невыносимо, потому что простая, неброская фигура дворника была в этой картине не к месту. Мир, в котором неказистые дворники чистят улицы, за несколько домов до театра куда-то пропал вместе с миром радиодеталей и электронных схем. В память об электронных схемах остались разве что японские наручные часы, которые ярко блеснули на холеном запястье надменного и умного человека в белом шарфе, когда он прикрывал дверцу большой машины. Где-то там внутри часов, под цифровым табло должна была быть электронная схема... Может быть... Была, по крайней мере, в том, другом мире, где завистливый школьник увлекался электроникой, потом напился и упал в бадью с раствором. Но здесь, за несколько домов до театра, мысль про электронную схему была совсем неуместна, здесь раскручивалась совсем другая история. Теперь про те воспоминания, что связаны с радиоэлектроникой, завистливому школьнику даже и не стоило думать!.. Он бы только зря потерял время!

Те люди, что так страшно поражали своими яркими образами впечатлительную натуру завистливого школьника, появлялись перед ним вроде бы и не преднамеренно, а случайно, но в его мыслях то и дело сквозило, хотя это было еще только одно лишь смутное и неясное подозрение: совпадение спланировано заранее. Разве же не нарочно впечатления так страшно накладывались друг на друга? И это предположение, сделанное завистливым школьником, было в истории вечера в театре самым главным, наиглавнейшим из всех прочих обстоятельством.

В тот миг его поразило следующее невероятное наблюдение: точно, несмотря на зиму, прямо на улице в городе работал огромный гипнотический кабинет. Да что там, зима тоже была «со всеми ними», как думал завистливый школьник, в сговоре!.. С кем именно?! Ах, конечно, в тот момент в его рассуждениях не было таких подробностей!.. «С ними» вообще, а в частности: с красавицей, с надменным человеком в белом шарфе. Зима позволяла им носить блестящие шубы и экстравагантные шарфы, которые столь шли им, и без того прекрасным и удивительным. Но только ли с ними, именно ли с ними была в сговоре зима?! Он не стал раздумывать и об этом: история с ужасными и блестящими впечатлениями, которые за несколько домов до театра не позволили ему больше думать о радиоэлектронике, была пронизана ужасной тайной, которую ему с ходу было не разгадать, как бы он ни старался. Эта тайна была страшна и чревата неожиданными разгадками, и в происходившем можно было ожидать всего: любого и от любого...

Конечная цель гипнотического сеанса была достигнута за несколько мгновений: он был поражен и раздавлен обрушившимися на него впечатлениями. От его обычной хамской пренебрежительности, с которой он взирал равно на убогие многоэтажки на их окраине и на своих одноклассников, юных радиолюбителей, не сохранилось и следа. Он не видел изъянов ни в чем и ни в ком вокруг. Куда завистливый школьник ни кидал взгляд – везде жгло, поражало блеском и больным, убийственным очарованием. Будь завистливый школьник в привычном состоянии, он бы мог холодно, спокойно взглянуть на разыгрываемый, по его представлению, прямо на улице спектакль и тотчас разглядел бы во всем – и в людях, и в зданиях центра Москвы – многочисленные изъяны, которые разве что не лежали на самой поверхности. Завистливый школьник вычислил бы за «спектаклем» много убогих изнанок, и ему бы стало легче. Но именно теперь он был не в состоянии этого сделать. Где там вычислять?! Похмелье, сонливость, расстройство из-за испорченной одежды, унижение из-за гнусного наряда, что был на нем теперь, – все обстоятельства действовали против завистливого школьника.

Но с момента своего невероятного предположения о гипнотическом кабинете, с той самой минуты, как это предположение только появилось в его мыслях, завистливый школьник ни на секунду не забывал, что его изначальное состояние в этот вечер повстречавшимися случайно персонажами тщательно учтено, а то яркое впечатление, которое повстречавшиеся персонажи пытались на него произвести и, надо сказать, удачно производили, – так вот, это впечатление было продумано и просчитано до мелочей.

Уличные картины!.. Они действовали на завистливого школьника тем более странно и поражали тем неприятнее, что он только совсем недавно брел, подняв воротник курточкой, чтобы всего-навсего убить время, чтобы только как-то тихонько отсидеться в темноте зрительного зала. А что было здесь, перед театром?! Наоборот, здесь, кажется, не хватало его одного. Притворно случайные, притворно «уличные», яркие люди, встреченные сегодня, ждали только его одного! Он или кто-нибудь такой же, как он, был им необходим на роль зрителя, потому что без него, случайного и до последней секунды ничего не ожидавшего зрителя, громадная затея по произведению ярких впечатлений на улице перед театром была полностью лишена смысла. И вот вместе с кровью, что теперь разгонялась по жилам с удвоенной скоростью, в завистливом школьнике распространялась злость: как это испод-

тишка и нечестно – он ни капельки не ожидал встретить такие яркие, ранящие впечатления и не был подготовлен к ним ни в малейшей степени!.. Что же это они, как же это они? Неужели вот так вот – нарочно! – подкараулили его, когда он был заспан, едва ли еще протрезвел, а одежонка – такую надевают только клоуны в цирке! Так то же клоуны, профессионалы, которые смешат намеренно и получают за это деньги!.. Это то же самое, что неожиданно ударить только что вставшего с постели, еще не проснувшегося человека!.. Какие подонки!..

Что касается цели удара, то завистливому школьнику она была понятна с самого начала: показывая ему, какое он, завистливый школьник, ничтожество, персонажи, встреченные на улице перед театром, – все эти бесчисленные красавицы в шубках и мужчины в шарфах, обернутых вокруг шей по-модному, – подчеркивали и оттеняли свое великолепие. Таким образом, завистливый школьник был уверен, что это заговор влюбленных в себя персонажей против него, которого они хотели поразить своим великолепием.

Конечно, в своих мыслях, которые скакали более чем лихорадочно, завистливый школьник употреблял слово «заговор» в очень ограниченном значении – ведь он же не сошел с ума, чтобы действительно разглядеть заговор в уличной толпе. Он мысленно произносил это слово с тем оттенком, чтобы наверняка хотя бы самому себе подчеркнуть: здесь нет непреднамеренности и случайности. Наоборот, события с самого начала должны были развиваться именно так, как они и развивались.

«Впрочем, черт с ним со всем!» – решил завистливый школьник.

Когда до театра оставалось пройти каких-нибудь несколько десятков шагов, завистливый школьник титаническим усилием попытался изменить свое настроение: отчаянно постарался оживить уже едва дышавшее воспоминание о самодельном усилителе и забытое предвкушение впечатления, которое на ближайшей школьной дискотеке эта штуковина должна произвести на одноклассников и – как знать, – может быть, на одноклассниц. Из последних сил завистливый школьник вообразил, как соберутся одноклассники в радиорубке актового зала, где стоял магнитофон и крутили кассеты, как возникнет толкотня и одноклассники захотят покрутить ручки. Завистливый школьник предполагал небрежно не расслышать вопросы «не очень уважаемых» одноклассников и завести неспешный разговор о достоинствах и недостатках разной «техники» с «самыми уважаемыми». Это должно быть здорово!..

Но все же те несколько десятков шагов, что завистливый школьник прошел до входа в театр, на который набрел в точности по указаниям продавшей билеты тетушки-спекулянтки, произвели на него самое тяжелое действие. Мечты об усилителе, конечно, помогли настроению, но не столь действенно, как он рассчитывал.

«Совершенно спланированное и продуманное дело... Спектакль, за которым, стоят придумщики, они же – исполнители. Все ловко и подло рассчитали... Надо сказать, им, гадам, удалось на высшем уровне. На самом высшем уровне!..»

От вечерней улицы перед театром у него рябило в глазах.

Перед самой дверью театра завистливый школьник машинально посторонился и обождал: почти одновременно с ним, но все же на какие-нибудь мгновения позже, ко входу в театр, не от метро, а с противоположной стороны улицы, от отъехавшей огромной, блестящей, пахнувшей деньгами черной машины, от тротуара напротив, не ожидая, пока проедет поток машин, вынуждая их всех притормаживать и останавливаться, немного скользя ботинками по запорошенному тротуару, подошел роскошно одетый человек с удивительно прямой спиной, без перчаток, хотя было сильно холодно, в золотых, с драгоценными камнями перстнях и таком же белом шарфе, как тот, что был надет на человеке, которого завистливый школьник видел совсем недавно.

Деньги, деньги, деньги – легкое дыхание исходило от этого человека в воздухе...

Завистливый школьник как-то совершенно естественно обождал, пока человек с удивительно прямой спиной пересек улицу, не спеша потопал, отряхивая снег, начищенными до блеска ботинками и, ни на кого, в том числе и на ожидавшего, пропускавшего и чуть ли не дверь придерживавшего завистливого школьника не глядя, прошел в двери театра.

Только тут завистливый школьник немного пришел в себя и удивился: чего это он так расстарался, придерживая дверь, и зачем проявил такое почтение к этому незнакомому ему человеку?.. Тем более – завистливый школьник только теперь осознал это – совершенно никакого яркого впечатления, подобного тому, что произвели на завистливого школьника красавица в шубке или гордый человек в белом шарфе, этот человек с удивительно прямой спиной на него не произвел. Почему-то предполагаемое наличие у человека с удивительно прямой спиной больших денег не произвело на завистливого школьника никакого, тем более яркого и болезненного впечатления.

Завистливый школьник уже было опять начал думать про усилитель, но вдруг, вдогонку, еще разик представил, как только что держал дверь и при этом не испытывал совершенно никаких болезненных чувств из-за проходившего через нее богатого человека с удивительно прямой спиной.

«Странно!» – подумал завистливый школьник. Богатому человеку с удивительно прямой спиной он почему-то совсем не завидовал.

Потому-то завистливый школьник и не отнес богатого человека с удивительно прямой спиной к «заговорщикам».

«Нет, действительно, странно!» – завистливый школьник даже хмыкнул.

То, что человек с удивительно прямой спиной обладал большими деньгами, не произвело на завистливого школьника совершенно никакого яркого впечатления.

В гардеробе он оказался следующим по очереди за человеком с удивительно прямой спиной. Завистливый школьник с наслаждением снял с себя куцонькую куртchonку и женскую вязаную шапочку. Вот когда ему стало полегче: ведь свитерок на завистливом школьнике был ему вполне по размеру, даже немного великоват.

Глазами он искал свою девочку, но той в театре еще не было. Или, быть может, она уже сидела в зале на своем месте?.. Завистливый школьник краем уха расслышал, как гардеробщица говорит человеку с удивительно прямой спиной:

– Купила, все, Таборский, купила, как ты сказал, как ты мне велел. Твой букетик за приполком у меня стоит, вот!.. С тебя, Таборский, значит... С тебя, значит, двадцать пять рубликов. Уж не знала, как и сказать... Но ты же сам велел денег не жалеть... Как мне денег не жалеть?.. Я ведь, в отличие от тебя, Таборский, к ним не привычная...

Завистливый школьник поразился: букет должен был быть очень шикарным, если он стоил целых двадцать пять рублей!

– Вы себе-то накиньте, накиньте, – добродушно проговорил Таборский. – Пусть будет двадцать восемь. Это нормально, почему не быть...

– Ой, да что ты! Прямо я не знаю... Не знаю прямо... Я уже накинула вообще-то! – ответила гардеробщица как-то дико и неестественно жеманясь, отчего ее сморщенное личико приобрело совершенно комичное выражение. – Ну, уж если ты, Таборский, как говорится, настаиваешь: двадцать восемь так двадцать восемь!

Таборский, ничуть не огорчившись из-за того, что гардеробщица, похоже, вела себя с ним не совсем честно, полез во внутренний карман пиджака, но бумажник застрял в кармане, и Таборский принялся с усилием его оттуда вытаскивать.

К тому времени за завистливым школьником уже пристроились в очередь к гардеробу еще два человека. Наконец гардеробщица взяла его куртchonку.

Таборский тем временем, чертыхаясь, уронил на пол позолоченную шариковую ручку, которую только что извлек из кармана.

– Чертов карман: слишком узок для моего бумажника! Сегодня мой бумажник набит особенно плотно – распух так, что из кармана не вытащишь! – тем не менее самодовольно проговорил он и взглянул на гардеробщицу, явно ожидая прочитать на ее лице восхищение его богатством.

Тут же, вслед за ручкой, он выронил из кармана на пол еще и несколько сложенных вчетверо листов бумаги с какими-то записями и пять или шесть двадцатипятирублевых. Гардеробщица, завистливый школьник и те несколько человек, что уже пристроились за ним в очередь, терпеливо ждали, когда же наконец Таборский вытащит свой бумажник. Завистливый школьник, обернувшись, заметил, что взгляды, которые стоявшие в очереди люди бросали на обладателя плотно набитого бумажника, были полны недоброжелательства и раздражения, а вовсе не восхищения его богатством.

– Бумажник распух так, что я его из кармана вытащить не могу!.. Плотно я его сегодня набил! – еще раз сказал Таборский, но тут лицо гардеробщицы стало злым, и она неожиданно коротко, резко, сварливым голосом прикрикнула на него:

– Отошел бы уж лучше, Таборский, в сторонку, да там бы свое богатство тихонечко-то и вытащил! А мне тут нечего его показывать. Меня оно не интересует!

Тут уж стоявшие в очереди к гардеробу люди стали смотреть на Таборского с нескрываемым презрением.

– Ну что, не завидуете вы мне? – проговорил, взглянув неожиданно и прямо на людей в очереди, обладатель толстого бумажника и как-то горько и криво усмехнулся. – Не завидуете моим деньгам? Это-то и плохо!..

– Да презираем мы их, эти деньги! Счастья на них не купишь! – с насмешкой сказал какой-то дядька, стоявший позади завистливого школьника в очереди. – А вам бы я, молодой человек, посоветовал протрезветь, прежде чем в театр-то приходите!

– Ладно, хватит!.. В мои молодые годы выпить чуть-чуть – не грех. И потом я уже совершенно трезв... Презирают они мои деньги... Надо же! Для чего же я тогда стараюсь?! – проговорил Таборский, который действительно был достаточно молод, и затем уронил на пол еще какую-то сложенную вчетверо бумаженцию. Впрочем, завистливому школьнику показалось, что прежде прямая спина Таборского теперь, после того как никто не восхитился наличием у него больших денег, немного ссутулилась.

Завистливому школьнику стало его жаль, и он мигом нагнулся помочь: подобрал с пола деньги, бумаги, ручку. А тут и Таборский, чья спина, вопреки наблюдениям завистливого школьника, оставалась по-прежнему прямой, вытащил наконец свой бумажник из черной прекрасной кожи, – блестящий, большой, по всему было видно – туго набитый наличностью.

Затем Таборский небрежно вытащил из бумажника сразу большущую пачку денег, отсчитал двадцать восемь рублей, передал их гардеробщице. Та взяла их и тут же воровато посмотрела по сторонам. Очередь уже проявляла сильное и нескрываемое нетерпение.

Таборский небрежно скомкал остальные купюры и сунул их обратно в бумажник. Сделал он это крайне неловко, так что денежные билеты до половины остались торчать наружу и едва тут же не высыпались из бумажника на пол. Затем Таборский вновь, как будто он только что не имел неприятного опыта, впихнул в узкий карман бумажник, документы, ручку и номерок от пальто..

Потом, прижав руку, точно у него болело сердце, к пиджаку, оттопырившемуся на груди из-за бумажника, он медленно пошел куда-то... Кажется, к двери на улицу, покурить в предбаннике – теперь следить за Таборским завистливому школьнику мешала колонна.

– Надо же!.. – потрясенно произнесла ему вслед гардеробщица.

– Молодой какой, денежный, странный, хвастливый!.. – сказали откуда-то сзади, из очереди.

Завистливый школьник убрал свой номерок в карман, но от гардероба еще не отошел, так что продолжение разговора было ему слышно...

– Знаете, это Таборский – бывший актер нашего театра. После театрального училища он играл на сцене совсем мало, потом бросил театр и теперь зашибает деньги – организует эстрадные концерты, – затараторила гардеробщица, принимая очередное пальто у того самого дядки, что выразил презрение к деньгам человека с удивительно прямой спиной. – Он к нам в последнее время каждый вечер приходит, смотрит на одну актрису: она совсем молоденькая, еще почти неизвестная, всего три месяца на театре, в сегодняшней премьере будет играть. .. Этот каждый раз велит мне купить для нее цветов... Ну а мне что, разве трудно?.. – она опять воровато посмотрела по сторонам, точно ожидая появления фининспектора. – Наговорил тут всякой ерунды!.. Оно и понятно – выпивает постоянно, все время под хмельком. А выпьет, становится болтлив: заговаривает с каждым встречным, хвастается своими деньгами. Не ровен час, пришибут его из-за этих денег какие-нибудь нехорошие люди!.. Страшно мне за него!..

Завистливый школьник пошел от гардероба прочь. Краем глаза через дверь он увидел, что Таборский вышел на улицу и курит: клубы то ли дыма, то ли пара валили от него на морозе. До спектакля оставалась еще уйма времени.

А в вестибюле, где стоял завистливый школьник, прогуливалось много народа. До него доносились всевозможные восклицания и восторженные громкие фразы.

Вот он расслышал, что говорит слева от него высокая худая женщина:

– Ах!.. Мы были на прошлой премьере!.. Мы видели великого молодого актера Лассаля на прошлой премьере. Это было великолепно!.. Мы были на прошлой премьере, и вот мы уже на новой премьере! Мы вновь будем смотреть великого Лассаля... – завистливый школьник успел увидеть говорившую лишь искоса, лишь краем глаза. От всей ее фигуры, от молитвенно сложенных рук исходили восторг и самозабвенное умиление.

Завистливому школьнику показалось, что она намеренно говорит все с эдаким-то молитвенным вдохновением и рассчитывает при этом именно на его внимание. Словно овеивая его этими преувеличенными восторгами, – ведь она же понимала, что он все прекрасно слышит, – она хотела заморочить ему голову и утаить от него какую-то очень важную суть вещей, какое-то главное дело.

Завистливый школьник тут же отошел от нее и встал в другом месте возле колонны.

– Осокин мне нравился всегда... Я покорен им еще с той первой роли. Помните?! Помните?! – спрашивал мужчина, опять-таки непонятным образом косясь именно на завистливого школьника, словно и он рассчитывал в своем разговоре только на него. Но этот разговор доносился уже совсем с другой стороны, от большой группы людей, которые не имели никакого отношения к той первой, высокой и худой женщине.

«Неужели и здесь тоже?! И здесь то же самое, что на улице?! Осокин... Вот как!.. Мне кажется, ни разу не слышал», – промелькнула мысль в голове завистливого школьника. Но в этот момент его сердце еще не начинало бешено стучать. Чутьочка спокойствия, которой он был обязан мечтам о своем усилителе, еще оставалась в нем. Но хватить ее могло лишь совсем ненадолго.

– Но что бы я не пришел на премьеру?! Чтобы не засвидетельствовал своего почтения?! Нет, Осокин – молодец!.. Появись этот спектакль пять лет тому назад, он бы был никому ненужен. Нет худа без добра!.. – говорил своей юной спутнице какой-то изысканно одетый мужчина справа. – Нет худа... Осокин... – дальше все очень бессвязно, неразлично, перебиваемо шарканьем ног по ковровой дорожке, голосами, возгласами... Но все так же восторженно и без доли сомнения. Точно только для того, чтобы произвести страшное впечатление на завистливого школьника.

Но завистливому школьнику было неясно для чего и почему они так все старались?!

«Чушь!.. Дрянь!.. Эти восторги – чушь и дрянь... Но не могут же они быть пьяные?! И все сразу?! Но тогда, в трезвом уме, чего ради можно так умиляться и восторгаться этими актерами?! Что же говорящие – пьяные что ли?!»

– Играет с колес... Лассаль... Осокин... Великолепно!.. Я с вами не согласен... Мартынов лучше... Он мог бы в этой роли лучше... Мартынов – гений!.. Десять лет – «кушать подано»... Какой талант!.. Ничтожество!.. Это Осокин гений!.. Да бросьте вы, они все прекрасны здесь!.. Нет уж, дудки!.. – уже было трудно различить, кто и откуда говорил, кругом были красивые лица, великолепные наряды, шик, феерическое впечатление. Точно на завистливого школьника враз обрушили все умное, блестящее, яркое, красивое и восторженное, что можно было собрать в этот вечер с целой Москвы: лица, наряды, разговоры... Да как обрушили – с вдохновенной силой, с иступлением!

Завистливый школьник было начал прогуливаться в фойе театра кругами, но вскоре остановился, окончательно пораженный тем, как разом раскраснелись, как были восторженны и возбуждены находившиеся вместе с ним в этом небольшом помещении люди, словно теперь был какой-то невероятный момент, когда экспромтом праздновалось всеобщее неожиданное везение: будто несколько минут тому назад что-то такое вдруг совершилось, что всем сразу стало очень хорошо. Вмиг все мозги ополоснуло неожиданным восторгом.. Неужели же все это случилось только потому, что он, завистливый школьник, появился в этом фойе и теперь растеряв но стоял на его середине, не зная, куда деть себя, свои руки ноги?!

Завистливый школьник и рад был бы не поверить этому предположению, но он до сих пор не избавился от своих недавних подозрений насчет заговора на улице перед театром, и у него вновь появилось сильное ощущение, что и здесь его пытаются одурачить. Здесь он опять был в роли того самого единственного зрителя, которого всем этим спектаклем и надо было обмануть, на которого-то и было рассчитано происходившее здесь действие!

Но тут завистливый школьник отчетливо почувствовал, как на него действует висевшее в воздухе некое странное, судорожное напряжение. Но оно действовало не только на него. О, нет, не может быть!.. Не может быть, чтобы здесь всем угрожала какая-то опасность!.. Но есть же, есть же это тягостное, гробовое чувство, которое так и витает в воздухе среди смеющихся лиц, среди тяжелых портьер и золоченых банкеток, среди буфетного шампанского и шумных, возбужденных возгласов!.. Тяжко! Тяжко и беспокойно... Хоть и смех кругом, хоть и возбуждение – радость эта мимолетна, она только на какие-то краткие миги, только на секунды! Точно люди, прогуливающиеся в фойе театра, норовят одним рынком отскочить на шаг в сторону от охватывающего их ужаса. Находящимся сейчас в театре людям тяжело и беспокойно. Но именно от того, что это так, самое большое напряжение и величайшая опасность грозят завистливому школьнику!.. Ему, а не кому-то другому, не им! Только завистливый школьник может оказаться здесь самой слабой жертвой, самой легкой добычей... И кругом – эти разговоры, бесконечные разговоры об актерах, кругом эти висящие на стенах актерские портреты, которые словно взяли все фойе в окружение. Взгляни направо – актерский портрет, посмотри налево – тоже портрет актера!.. Там – театральная афиша, здесь вот – рекламный плакат: лица актеров, их имена, названия спектаклей... Взвинченная торжественность, яркий свет люстр, стены – одно сплошное красное марево. Все это словно тонкой, мучительной стружкой выдавливалось из завистливого школьника костный мозг, голова у него уже начинала болеть и кружиться, перед глазами прыгали мушки – это был уже не заговор, а самое настоящее покушение на здоровье и на саму жизнь. Еще немного – и ему уже будет не выдержать!.. Какие-то страшные, непривычные, прежде никогда с ним не случавшиеся слабость и неуверенность расплющивали его. Должно быть, это было с похмелья... Должно быть, это явилось следствием недосыпания...

– Откуда ты такой дикарь?! Откуда ты, господи?! – вдруг раздалось у завистливого школьника за спиной.

– Что?! – он резко, кажется, даже крутанувшись на каблуках, обернулся. Теперь он тоже был изрядно взвинчен и возбужден. Он вздрагивал от громких звуков.

Под галереей актерских фотопортретов прислонилась к стене пожилая женщина, ее седые волосы были завиты в кудряшки. В руках у нее была пачка театральных буклетов, которыми она торговала, как это обычно бывает в театрах перед спектаклями.

Буклетов у нее никто не покупал, и лицо у нее было уставшее и недоброе. Фигура пожилой женщины была напряжена, а поза, в которой она стояла, – неестественна: она выставила вперед правую ногу и по-балетному вывернула наружу стопу. Странно, откуда она здесь такая взялась?! А впрочем, чего же тут было странного?.. Но завистливый школьник все же подумал, что пожилая женщина работает здесь чуть ли не первый день и, скорее всего, скоро из театра уволится. – Вот такая мысль, возникшая вроде бы не из чего, ни к чему не относящаяся и ни на какие выводы не наталкивавшая, появилась в его голове.

– Значит, тебе никто не объяснил, что сюда надо приходиться в нарядных штанах?.. А ты в чем пришел? Посмотри, что на тебе надето!.. Где ты взял эти короткие портки?! Ты разве не слышал, что театр – это церковь искусства?! Ты слышал такое выражение, глупый дикарь? – спросила продававшая театральные буклеты пожилая женщина у завистливого школьника.

Но значит, это – иконы?! – отчего-то вдруг испытал приступ необъяснимого, едва ли не медвежьего страха тем не менее произнес завистливый школьник, и пальцем показал на фотопортреты актеров. От этого собственного жеста он испугался еще сильнее...

– Иконы!.. – уверенно и резко ответила ему пожилая женщина.

– А что же вы мой портрет здесь не повесили?.. – спросил завистливый школьник неожиданно для себя самого.

– Актеры на портретах многого в жизни добились. А ты – нет... – ответила пожилая женщина, продававшая театральные буклеты.

– Как же вы можете так говорить?.. Вы же не знаете, кто я. Может, я добьюсь в своей жизни даже большего, чем эти актеришки на портретах!.. – обиделся завистливый школьник. – Да, правильно, все дело именно в этом: вы же не знаете, чего я еще добьюсь! Я ведь еще школьник... Я ведь не могу чего-нибудь добиваться, пока я еще школьник, – добавил он.

Но на пожилую женщину с театральными буклетами в руках его слова не произвели ровным счетом никакого впечатления.

– К театру, к ярким театральным профессиям ты никогда не будешь иметь отношения! Никогда!.. Достаточно один раз взглянуть на тебя, чтобы это стало совершенно ясно, – отчеканила она. При этом в ее голосе звучала нержавеющая сталь.

– Ах вот как?! Но почему, когда вы говорите про жизненные достижения, вы имеете в виду только лишь один театр и актеров?! Так нельзя! – воскликнул завистливый школьник. Он чувствовал себя так, словно продавщица буклетов приперла его к стене, и с мгновения на мгновение ему настанет конец. Хотя, спроси его в тот момент, в чем этот конец будет выражаться, – он бы не смог ответить.

– Здесь, в театре, творят люди яркой профессии, – пожилая женщина продолжала поучать завистливого школьника.

– Это лампочки бывают яркие и неяркие! – возразил он ей. – А профессии не делятся на яркие и неяркие.

– Делятся, очень даже делятся! – продавщица буклетов оставалась невозмутима. – Чуешь здешнюю, театральную атмосферу?.. Тебя здесь развлекают, учат, делают мудрее... И делают это необыкновенно ярко, прекрасно. Так что не будь дураком – расслабься и наслаждайся. Не суетись, тебя все равно обманут. А обманутому зрителишке ничего делать не надо – оденься по красивше, притащись в театр и смотри пьесу. Кстати, у тебя есть такой

костюмчик... Ну знаешь, наверное, такой вот... Сейчас модно такие носить... Ах, да что у тебя спрашивать, наверняка, у тебя нет такого костюмчика!.. Советую тебе – наслаждайся актерами. Внимательно смотри на них. Особенность в их яркой профессии следующая: в их яркой профессии одной работой, одним трудолюбием ничего не добьешься. Кстати, я тоже отрицаю тупой монотонный труд. Например, такой, как продажа буклетов... Так вот, в яркой актерской профессии нужно, кроме трудолюбия, еще кое-что... Я бы даже сказала не кроме, а вместо трудолюбия!.. Что конкретно? Никто не знает!.. Ха-ха!.. Наверное, талант, внешние данные, везение, связи... Ха-ха!» Какой же ты все-таки дикарь и какие на тебе ужасные штаны!.. Нет, у тебя никогда не будет яркой профессии.

Завистливый школьник пытался вставить в ее тираду хоть слово, но, кажется, ее уже было невозможно остановить. Она все говорила и говорила:

– Многие люди хотят пальцем дырку в столе провертеть, упорством взять, усидчивостью. А это сейчас самое презируемое. Я, например, сейчас восторгаюсь одной лишь яркой актерской профессией. Актеры не тратят время на тупой монотонный труд, от которого, лично у меня, через пять минут начинается аллергия. Этот чертов монотонный труд не дает в яркой актерской профессии никакого эффекта. Для успеха в яркой актерской профессии нужен не занудный труд, а что-то другое. Что именно – точно никто не знает. Ха-ха!.. Я сейчас пью таблетки от аллергии. Одна таблетка – и нет аллергии, и все время хорошее настроение. Лично я восторгаюсь актерами. Все остальные люди имеют совсем неяркие профессии. Все у них хуже. И сама жизнь – тоже хуже. Ты – дурак!.. Ты, судя по всему, не умеешь наслаждаться театром.

Завистливый школьник все-таки оборвал пожилую женщину – он начал говорить, не дожидаясь пока она закончит свою речь. Завистливый школьник говорил с жаром, с силой понимания, которое вдруг ему открылось:

– Но значит, вы не станете восторгаться успехом в той неяркой профессии, где добиться чего-нибудь можно только одной лишь монотонной, самой каторжной, самой ломовой работой?! В той неяркой профессии без сна и отдыха трудиться нужно, в ней нужно проявить железную волю, но восторгаться человеком, который добился успеха в такой неяркой профессии вы не станете, его портрета не повесите на стенку!.. Не повесите на доску почета!

– Бывают разные доски почета, – по-прежнему спокойно ответила пожилая женщина, продававшая театральные буклеты. – На одну из досок почета и твой портрет повесить могут. Но почет той доски будет не яркий, не такой, как почет портретной галереи актеров, которая есть здесь, в театральном фойе. Почет у тебя будет, да не тот. Не тот яркий почет, которого всем, и тебе в том числе, больше всего хочется. Ведь правильно же – хочется тебе эдакого-то, театрального почета, а?.. Нашего почета?.. Нашей яркой профессии?.. Не может быть, чтобы тебе не было завидно!..

– Как же вы смеее так говорить?! – завистливый школьник не унимался. – Вы мой усилитель... Ах, вы же ничего про мой усилитель не знаете!.. Вы всю радиоэлектронику как отрасль человеческой деятельности пустили по второму сорту, зачислили в неяркие профессии. Значит, заниматься радиоэлектроникой хуже, чем актерствовать?! Я не согласен!.. Слышите, вы, непробиваемая тетка!.. Я с вами категорически не согласен! – он уже почти перешел на крик и только испугавшись собственного громкого голоса замолчал.

– Глупо сравнивать профессии друг с другом. Вот почему про это нигде и не пишут. Тема сравнения профессий щекотлива, тема ярких и неярких профессий в печати никогда не обсуждается. Хотя всем давно понятно, что наш театральный успех – это успех особенный, яркий. И почет к нам тоже – особый, яркий, тот, которого всем хочется. Да не все его получают. Ну ладно, иди, не стой возле меня... Ты ничего не понимаешь... Я скажу им, что из-за тебя у меня ничего не купили... – она осеклась, словно враз образумившись, точно нечаянно проговорила о чем-то и теперь жалеет об этом.

Но завистливый школьник остановиться уже не мог, хотя говорить стал чуточку потише:

– Но если совсем не хочу заниматься этим театром, этим актерством?! Да, правильно, у меня нет отличных внешних данных и нет актерского таланта, но ведь мне и не нужно ни то, ни другое! Я радиолобитель, у меня будет другая профессия, пусть и нет в ней ничего яркого... Тьфу ты, прилипло!..

– Тебе не нужны хорошие внешние данные и талант?! Ну ты и дурак! Ха-ха! – разве-селилась продавщица театральных буклетов.

– Да, не нужны, потому что я планирую добиться успеха в профессии радиоэлектронщика! Может, я хочу усидчиво, монотонно трудиться! Именно такой труд мне и нравится. Поработал, а потом – чайку с пряниками попил!.. Чайку... Отдохнешь, и опять... Вы знаете, когда паяешь усилитель, то только такой монотонный труд и нужен: очень много мелких деталек, всяких тоненьких медных проволочек, разноцветных проводков!.. Успех достигается именно усидчивостью и монотонной работой. Не нужна тут взвинченная атмосфера, модные костюмчики, отличные внешние данные... Тут монотонный процесс, никакой яркости. Зато потом, благодаря этому усилителю, вы получаете такой необыкновенный звук, что все поражаются!.. Я вашей яркой театральной профессии ни капельки не завидую, честное слово. Правда, ни капельки!.. Как же я могу завидовать вашей яркой театральной профессии, если я в театре сегодня только во второй раз? Да вы же тоже используете у себя в театре усилители! Должны же использовать!.. Вам без людей неярких профессий не обойтись!.. Без того, что дают люди неярких профессий... Тьфу ты, прилипло: яркие – неяркие!.. Но почему вы сразу смеетесь, если я не хочу заниматься актерством, театральными делами. Почему вы сразу делите успех на яркий и неяркий?! Словно вы подталкиваете меня к тому, что я обязательно должен завидовать вашей актерской, театральной профессии. Зачем вы так жестоко разделяете профессии на яркие и неяркие?! Почему вы считаете занятие радиоэлектроникой неяркой профессией, профессией второго сорта, недостойной восхищения?! Ведь почетны все профессии, так нас в школе учат! Да ведь и вы сами – не актриса, а всего лишь продавщица театральных буклетов. Значит и вы занимаетесь неярким делом, и ваша профессия – неяркая!..

Следом у завистливого школьника вырвался неожиданный вопрос:

– Как же мне теперь быть? Ведь теперь я обязательно стану сравнивать профессии по степени яркости, начну завидовать и мучаться, – еще короткое время назад он и предположить не мог, что подобная перемена в его чувствах возможна.

И тут в голове завистливого школьника сегодняшние «заговоры» наконец-то сложились в цельную, ясную картину.

Он понял, в чем причина напряжения, которое он чувствовал повсюду, теперь завистливому школьнику стало ясно, отчего у людей, прогуливавшихся в фойе театра, были так судорожно сведены нервы: судорога возникала от сравнения профессий. «Как удержаться от того, чтобы не начать сравнивать профессии, и что делать, когда вдруг станет окончательно ясно, что моя профессия – неяркая?» – каждый из зрителей, собравшихся в театральном фойе, видимо, задавал себе именно такие вопросы. Словно объевшаяся таблеток продавщица театральных буклетов была права, хоть завистливый школьник так до конца с ней и не согласился. Точно действительно все успехи делятся на яркие и неяркие. А раз так, то перед завистливым школьником открывалась страшная, жуткая перспектива: сколько бы он со своими усилителями ни старался, не видать ему яркого успеха как своих ушей. И когда бы ни пришел он в театр: и сейчас, и через десять лет, и через двадцать, каждый раз он будет понимать, что все, чего он добился в своем неярком занятии, – это ничто по сравнению с настоящим успехом в яркой театральной профессии. И никак в его неярком деле яркого успеха добиться нельзя, какую бы ни сделал он титаническую работу, какое бы ни проявил

адское терпение, – все его труды будут зачтены по другому, неяркому ведомству. Ничего тут терпение и труд не способны были изменить, поскольку скроены они были не по яркой, не по актерской, не по театральной мерке. И никакого отношения тот адский труд к такому вот вечеру в театре никогда не станет иметь. Как ни старайся, все будет второй сорт, все, как говорила эта буклетерша, почет, да немного не тот. И знал, знал завистливый школьник, что помимо всех органов чувств был в нем какой-то орган, который только для того и существовал, чтобы отличать помимо ума, помимо чувства справедливости яркое от неяркого. Орган этот никуда не денется, до конца жизни его атрофироваться не сможет, как бы он сам этого ни хотел.

А ведь точно: не тот почет, не тот! Не та в нем приправа, не та специя, не тот вкус и запах!.. Совсем другое в нем дело! Другое, неяркое занятие!..

В том страшном миге, когда завистливый школьник это все понял, был один хороший момент: теперь ему было ясно, кто здесь главные заговорщики – ими были те актеры, что были изображены на портретах, висевших в театральных фойе.

А людишки-зрителишки, которые восторгались в фойе театра игрой актеров и спектаклями, сами были в точно таком же положении, как и он. Единственная разница между ними и им, школьником, заключалась в том, что он был среди них самым глупым, самым наивным. Ведь он начал догадываться о разнице, существующей между яркими и неяркими профессиями, только сейчас и то – благодаря подсказке пожилой женщины, продававшей театральные буклеты. Так что людишки-зрителишки, якобы случайно оказавшиеся рядом с ним и беседовавшие в фойе театра, на самом деле действительно ломали перед ним комедию. Ведь перед ним, пришедшим в театр всего во второй раз в своей жизни, и они тоже могли сойти за представителей ярких профессий. Они думали, что он дурачок и не знает, что профессии, в которых они трудятся, ничуть не ярче его радиоэлектронных занятий. Они хотели в его глазах сойти в этом театре за своих и тем потешить свое самолюбие, каждый из них придумал для себя какую-нибудь мелочь, деталь: манеру держать незажженную сигарету, говорить со значительным видом какие-нибудь умные фразы, – и этой мелочью пытался произвести на него впечатление, потрясти его, чтобы он ужасно мучался, ходил и не мог понять, что же есть в них такого замечательного, что так блестят они и такие кружат хоромы друг с другом, каким таким странным способом они смогли вдруг всех обмануть и добиться в своих неярких занятиях яркого успеха?! Ведь он в своих стареньких коротеньких брючках был среди них в самом невыгодном положении, на его убогом фоне и они могли сойти за представителей ярких профессий, за блистательных заговорщиков.

Не заговорщики! Они на самом деле не заговорщики – та высокая и худая женщина своими восторгами пыталась скрыть от него именно это. И тот мужчина тоже пытался от него это спрятать...

А ведь им так хотелось стать блестящими и яркими, как актеры, заговорщиками! И ведь стали людишки-зрителишки заговорщиками, хоть на секунду, а стали!.. На миг сменили свое неяркое занятие на яркое. Все потому, что в театре появился он – простачок-школьник.

И вот у людей, прогуливавшихся и беседовавших друг с другом в фойе театра, было уже такое выражение лица, такой радостный, почти истерический бред они продолжали нести, – так представлялось завистливому школьнику, – словно только что они ждали чего-то ужасного и вдруг узнали, что это ужасное не произойдет. А у кого-то из них было даже такое выражение лица, словно он именно в эту минуту слушал, как: ему говорят: нынче и ты – блестящий и яркий заговорщик, исчез вопрос о принадлежности к яркой профессии, больше не: делятся профессии на яркие и неяркие. И прогуливавшийся в фойе театра зритель никак не мог поверить в это; но сам, тем! временем, уже готов был сойти с ума от счастья и желал слышать это известие еще и еще: что он тоже яркий заговорщик и не делятся больше профессии на яркие и неяркие. Но ведь это была ложь, что он – яркий заговорщик! По-прежнему

вitala в театральном фойе ужасная мысль о том, что успехи я профессии делятся на яркие и неяркие, и потому, поглядывая на обманутого ими простодушного школьника, находившиеся здесь люди все же спрашивали себя: что же нам делать, как же нам быть? Как нам не сравнивать свое неяркое занятие с яркой актерской профессией?! Но продолжать задавать себе этот вопрос означало для них сойти с ума. А чем сойти с ума, уж лучше им было попытаться примитивно обмануть себя: и мое занятие яркое, и мой успех – яркий, и я – блестящий заговорщик! И вот уже дикое, безумное возбуждение ширилось и вздымалось кругом: «Ах, Лассаль!.. Ах, Курочкина!.. Ах, Осокин!.. Видали ли вы?!. Слыхали ли вы?!. Ну что вы!.. Зря!.. Душа моя, непременно спешите в театр!..»

Завистливый школьник уже был готов сказать пожилой женщине, продававшей театральные буклеты, самые отвратительные грубости, но как раз в этот момент в фойе театра, прямо у входных дверей произошла одна сценка, которая отвлекла его от этого разговора.

Пока завистливый школьник общался с пожилой женщиной, продававшей театральные буклеты, Таборский, выкурив в стылом предбаннике сигарету, которой он дымил, неизвестно кого поджидая, вошел обратно в фойе театра. То ли из вредности, то ли она действительно забыла, как он выходил, но билетерша вновь потребовала у Таборского билет. Чтобы избежать напрасного долгого спора, – до спектакля оставалось не так много времени и как раз в тот момент в дверь валило великое множество опаздывавшего народа, которому он мешал, – Таборский полез в карман за бумажником, в который он положил свой, уже один раз надорванный на контроле театральные билет.

Как и совсем недавно возле гардероба, бумажник опять не хотел вылезать из кармана, и билетерша попросила Таборского отойти в сторонку, потому что он задерживал возникшую у входной двери очередь. Но Таборскому именно в этот момент удалось извлечь бумажник на свет божий и он уже полез в то отделение, где вместе с деньгами должен был быть сунутый туда второпях театральные билет. Сразу за Таборским стояла большая и шумная группа подростков, судя по виду приехавших в Москву откуда-то из провинции, – он шагнул в сторону, пропуская их в двери. Один из подростков, рванувшихся вперед, толкнул его под руку, и пачка денежных билетов, которую Таборский столь небрежно сунул в бумажник еще когда стоял у гардероба, вывалилась на пол.

Если бы деньги были сложены аккуратно, купюра к купюре, они бы, наверное, и упали аккуратно. Но Таборскому в этот день не везло: купюры веером разлетелись в разные стороны так, как их, наверное, нельзя было бы раскидать и нарочно! Самым примечательным было то, что большинство купюр оказалось самого крупного или предпоследнего перед самым крупным, достоинства. Под ноги толпившимся подросткам из провинции на пол театрального фойе легли тут и там суммы, где размером в месячную стипендию студента-отличника, где в аванс инженера, а где – в чью-нибудь пенсию.

Подростки протяжно охнули и, кажется, приготовились в следующую секунду кинуться собирать с полу рассыпавшееся богатство. Таборский обреченно замер. Пораженно замерли, чуть ли не раскрыв рты, и остальные люди, находившиеся поблизости в театральном фойе и обратившие внимание на эту сцену. Раздавшиеся при этом пораженные возгласы слились в один громкий возглас, который и отвлек внимание завистливого школьника от разговора с пожилой женщиной, продававшей театральные буклеты. Неизвестно, что бы было потом и как бы Таборский отбирал у школьников свои деньги, какое дознание пришлось бы провести сопровождавшее группу подростков учительнице, но в эту секунду на входе в театр появился тот самый человек с гордой, непокрытой головой и в белом шарфе, который так поразил своим вдохновенным видом завистливого школьника, когда тот еще только шел сюда.

Только теперь завистливый школьник вспомнил, что несколько раз видел этого человека по телевизору. А это был начинавший, но уже громко заявивший о себе молодой актер

по фамилии Лассаль, которого к этому времени успели объявить великим некоторые критики, настроенные особенно благожелательно и восторженно.

Лассаль вошел в фойе театра, глядя куда-то вверх голову как раз в ту секунду, когда находившиеся там люди вскрикнули из-за рассыпавшихся денег.

Произошедшая за этим немая сцена длилась целых десять или двадцать секунд: все, кто был в этот момент в фойе театра поблизости от входа, включая подростков из провинции, конечно, узнали Лассалья и ждали, что он станет делать, увидав лежавшие на полу прямо у его ног крупные деньги.

Лассаль же, который вошел в фойе театра с гордо поднятой головой, как показалось завистливому школьнику, не видел того, что было у его ног и, вероятно, решил, что пораженные возгласы, которые на самом-то деле относились к рассыпавшимся деньгам, вызваны его появлением.

Впрочем, конечно, неожиданное появление Лассалья именно в этот момент еще больше поразило находившихся поблизости людей. Два этих события – падение денег и появление Лассалья – наложились друг на друга, и Лассаль, как представилось в этот момент завистливому школьнику, сам удивился, что один его вид действует на людей подобно грому с ясного неба. Конечно, как представлялось завистливому школьнику, Лассаль знал себе цену и знал, что производит на зрителей сильное впечатление, но что оно до такой степени сильно, Лассаль, безусловно, не предполагал. Лассаль не смог сдержать довольной улыбки и, по-прежнему не глядя себе под ноги, прошел в фойе прямо по лежавшим на полу деньгам Таборского, мимо билетерши, которая с восторгом к угодничеству заглядывала ему в лицо, не зная, чем она в этот момент может услужить ему.

Он прошел по деньгам, оставив на купюрах грязные большие следы, и некоторые из них даже прилипли к подошвам его ботинок и отвалились лишь позже. И завистливый школьник вдруг увидел, как велик, как огромен этот человек в своем невероятном экстазе, в своем самолюбовании. Как каждая клеточка тела этого человека послушно двигалась в такт его тигриной, легкой и сильной походке. И завистливый школьник, кажется, самым костным мозгом своим ощутил, что даже если и принять на веру бредовое предположение, что до этого мига человек этот, Лассаль, был совершенно ничтожен, пуст, глуп, и только глупость и неразборчивость толпы могла вознести его куда-то, на какой-то пьедестал, где есть известность и величие, то в эту секунду он нечто такое пережил, такая страшная дуга восхитительного экстаза в нем блеснула, что выжгла она в нем невероятный, фантастический след. И след этот до самой смерти читаться будет в горящих глазах его, и будут смотреть в глаза эти потрясенные зрители и верить им, верить, что бы и как ни говорил человек этот, одним блеском этим завороченные...

На Таборского Лассаль даже не взглянул. Остановившись, Лассаль крикнул какой-то другой женщине, похожей на билетершу, которую завистливый школьник поначалу не заметил и которая уже бежала к дверям, к театральному кумиру совсем с другой стороны фойе.

– Анна Серафимовна, что же это такое?! В служебный вход – не войдешь!.. Заперт!.. Я столько времени жал на звонок!.. – крикнул Лассаль строгим голосом, а сам в этот момент продолжал улыбаться. Завистливому школьнику представилось, что Лассаль все сильнее начинал осознавать, какой невероятный, удивительный вскрик раздался в фойе театра при его появлении, как округлились глаза находившихся там людей, как замерли они пораженно, когда он вошел в дверь.

Всю эту сцену – разинутые рты, перекошенные лица, обалдевшую билетершу, которая не знала, куда ей кидаться, Лассаль – полагал завистливый школьник – принял за подтверждение собственного величия. И от такого невероятного, потрясающего, невиданного впечатления, которое он, может, в глазах зрителей не видел ни на одном из своих спектаклей, актер Лассаль взлетел, вознесся к самым вершинам счастья – так в этот миг представилось

завистливому школьнику, потому что глаза Лассалья стали лучиться уже неким безумным счастьем, а превосходство над собравшимися в театральном фойе людьми, которое он излучал, уже стало немного отдавать сумасшествием...

Тем временем никто не бросался собирать деньги, никто даже не шелохнулся, не сделал ни шаг, не нагнулся. И в первую очередь не спешил подбирать с пола свои деньги сам Таборский.

Дальше все происходило очень быстро: женщина что-то тихо сказала Лассалью, и он, подписав несколько программ, протянутых ему подсуевшимися почитателями, пошел обратно к двери и тут наконец заметил Таборского, который стоял невероятно прямо, так, как будто это не его деньги валялись на полу, и так же, как все, смотрел на Лассалья.

– Как ты поживаешь? – спросил Лассаль Таборского, вероятно, по старой дружбе. – Зарабатываешь деньги?.. Ну-ну!.. Зачем ты ушел из театра? Ты же творец, Таборский!.. А не какой-то жалкий концертный администратор!..

– Но почему сразу жалкий?! Может, это мое призвание!.. – спокойно проговорил Таборский.

Лассаль по-прежнему не смотрел себе под ноги, а между тем одна из крупных купюр даже прилипла к подошве его ботинка.

– Это его призвание! Может... – Лассаль кивнул в сторону завистливого школьника, который к этому моменту уже подошел к ним совсем близко. – А Таборский мог блистать на сцене!..

– Да ну тебя! Иди, тебе надо сейчас играть... И не нужно было тебе появляться здесь, в фойе.

– Иду, а ты собирай деньги... – сказал Лассаль и стало понятно, что он с самого начала разглядел, что лежит на полу.

– Да ну их к черту! – сказал Таборский и, не оборачиваясь, медленно пошел куда-то в сторону буфета.

Лассаль, хмыкнув, вышел из театра. Никто по-прежнему не шевелился.

– Стойте! – крикнул Таборскому завистливый школьник. Таборский остановился и, обернувшись, отрешенно посмотрел на него.

А завистливый школьник уже торопливо подбирал рассыпанные на полу купюры. Мигом собрав их, он подбежал к Таборскому и протянул тому деньги:

– Возьмите!.. Бедные, несчастные деньги, совершенно неяркие!.. Беззащитные. Как он их растоптал! А одну купюру он даже унес на своем ботинке. Деньги за себя постоять не могут.

– Что?! – пораженно спросил Таборский, беря деньги из рук завистливого школьника.

– А то, – сам себе удивляясь, сказал завистливый школьник, – что деньги – это тоже штука неяркая, скромная! Успех, да не тот!.. А ведь сколько на них всяких полезных вещей, всяких радиодеталей можно купить!

– Странные у тебя рассуждения, – проговорил Таборский. – Но, во всех случаях, спасибо за помощь. Приглашаю тебя со мной в буфет. Я как раз шел выпить вина. Ну а тебя угощу мороженым.

Они пошли в буфет.

– Кто этот человек в белом шарфе? – спросил по дороге завистливый школьник.

– О, это знаменитость, восходящая звезда актер Лассаль. Он действительно великолепный актер. У него во всем свой оригинальный почерк. Он и к спектаклю-то, в отличие от большинства актеров, никогда не готовится, играет с колес, приходит в театр позже зрителей. Сегодня ты его увидишь на сцене. Он играет Арбенина. Не знаю, почему он позволил себе появиться в фойе перед спектаклем...

– Да-а, жаль мне вас с вашими неяркими, беззащитными деньгами. Лассаль по вашим деньгам прошел и даже не взглянул на них, стал автографы раздавать. Я же понимаю, как вам должно быть обидно: вам же хотелось, чтобы все восхищались вашими деньгами, говорили о них, и вот – ваши деньги в грязи лежат, а все в этот момент смотрят на Лассалья, а на вас с вашими деньгами, хоть они и очень большие, никто внимания не обращает. И он первый не обращает. Наоборот, вы даже всем мешаетесь, раздражаете всех. Я представляю, как вы должны не любить театр и актеров!..

– Перестань, все это неправда, – Таборский положил на плечо завистливому школьнику руку. – Театр – это самое прекрасное, что есть на свете, а актеры – замечательные, талантливые люди, я сам еще недавно был актером. Так что все, что ты говоришь, – это чушь и неправда!

– Как неправда?! Он и сам про вас сказал, что вы жалкий администратор, а могли бы быть творцом, блистать на сцене. Значит, вы должны завидовать. Оно и понятно, профессию актера с профессией администратора не сравнить – не та яркость!..

– Перестань, администраторы в театральном деле тоже нужны. И никому я не завидую. Тем более Лассалю – он мой друг. По крайней мере, я считаю его своим другом... Кстати, с чего ты взял, что я администратор?!.

Они подошли к буфету и, не становясь в очередь, Таборский попросил у буфетчицы бокал вина. Никто из множества людей, стоявших в очереди, не сказал им ни слова, наоборот, все почтительно расступились перед ними, но, как это часто бывало в те годы, буфетчица была согласна продать только бутылку целиком, и Таборский взял целую бутылку. Завистливому школьнику он взял мороженое. Они сели за свободный столик, и Таборский выпил немного вина.

– Я слышал, вы ушли из театра, – проговорил завистливый школьник.

– Да, мне кажется, так честнее. У меня нет большого таланта, а на роли второго плана я не согласен. Я все время обижался на всех: на главного режиссера, на других актеров, спорил со всеми. Я слишком самолюбив, и мне было тяжело играть вторые роли, – ответил Таборский. – Попробую себя в чем-нибудь другом. Мир такой огромный!.. В нем так много интересных дел!

– А-а... Вот видите, вы признались, на роли второго плана вы все-таки не готовы! – воскликнул завистливый школьник.

– Потому что должно же быть где-то на свете дело, в котором я буду способен играть роли первого плана!.. – возразил Таборский.

– Но делать деньги – это, во всех случаях, не то, что вам нужно!.. Я же понимаю, вам хочется, чтобы все вам завидовали, все вами восхищались, но добиться восхищения одним лишь богатством – невозможно. Богатство – это лишь сумма денег, а сумма – это цифра, а цифра – вещь совершенно серая и неяркая. Успех – да не тот!..

– Какую чушь ты городишь!.. – сказал Таборский.

– Значит, вы не согласны со мной? – спросил завистливый школьник.

– Конечно, не согласен, – ответил Таборский. – Ты что, воспринял всерьез то, что я сказал там, у гардероба?.. Я же шутил!.. Я совсем не хочу, чтобы мне завидовали. И концерты эти я организовывать больше не буду. С этими концертами рано или поздно сядешь в тюрьму, а это мне совсем ни к чему. Деньги, конечно, идут хорошие, но уж больно как-то все рискованно. Нет, не хочу я больше с этим связываться!..

– А что же вы будете делать?

– Честно?

– Конечно, честно!

– Если честно, то я не знаю... Знаешь, я жалею, что не пошел в военное училище. Мне кажется, это было мое призвание. Но теперь уже поздно сокрушаться!.. – сказал Таборский.

– А скажите, радиоэлектроника – это яркое занятие или нет? – спросил завистливый школьник.

– Конечно яркое! Сейчас столько всего нового, интересного с электроникой связано!.. Действительно, это ты правильно сказал: яркого!

– Я не говорил. Я спросил, – поправил его завистливый школьник.

Прозвучал первый звонок, потом – второй.

– Ну ладно, – поднялся со своего стула Таборский. – Я вообще-то должен встретить у входа одного человека, отдать ему ту самую сумму, про которую ты говоришь, что она жалкая, беззащитная и совсем за себя постоять не может. А его все нет и нет. Как бы мне не опоздать в зрительный зал. Ты давай, доедай мороженое, а я пойду, подожду его там, у входа, покурю еще на холодке. Позакаляюсь...

Таборский ушел.

Завистливый подросток посидел с полминуты в задумчивости, а потом взял едва начатую Таборским бутылку вина, наполнил до краев его стакан и залпом выпил его. Поморщился и тут же, налив второй стакан, вновь выпил.

– Эй, ты что, с ума сошел, а ну-ка!.. Товарищи, заберите у него бутылку!.. – закричала заметив его художества буфетчица.

Не дожидаясь продолжения криков, завистливый школьник встал и пошел из буфета в фойе. В желудке у него уже было ужасно нехорошо, а в голову ударила сильная волна опьянения.

Дали третий звонок. Завистливый школьник вошел в зал и разыскал свое место. Кресло рядом с ним оказалось свободно – девочка в театр все-таки не пришла...

Свет погас и раскрылся занавес.

Сцена... В центре – огромный карточный стол. Зеленое сукно, багрово-красный ковер. Сверху – лампа в абажуре. Сидят игроки, рассыпаны карты, мечут банк. Кругом мрачная декорация: бастионы Петропавловской крепости, шпиль собора, высунувшийся из небытия кусок решетки Летнего сада, ветвь засохшего дерева, фиолетово-черная Нева, такое же небо с плывущими по нему страшными облаками, причал, безмолвный силуэт парусника...

Спектакль начался, спектакль шел... Вывод, вывод... Что делать?.. Какой из всего вывод? Практический вывод... У завистливого школьника было такое чувство, что время каким-то образом остановилось. Точно бы теперь он был совсем не тот человек, который еще пятнадцать минут назад спорил с продавщицей театральных буклетов... Все вокруг него было как-то слишком степенно, спокойно... Нет, так не должно было оставаться... Что же он? Совсем себя не уважает, что ли?! После всего того, что с ним произошло, просто так сидеть и смотреть?!

– ...Давно уже не был с вами, – говорил на сцене одетый в черный с отливом фрак и белую манишку Арбенин своему собеседнику, Казарину. На Арбенине были черные лаковые штилеты. Как-то с трудом верилось, что именно такие носили в девятнадцатом веке. Должно быть, в костюмерной не нашлось ничего подходящего к ноге Лассалья.

«С вами... С вами...» – мелькнуло в голове у завистливого школьника. В правой руке он скомкал надорванный синеватый билетик с чернильным штампом маленькими, расплывавшимися по плохой бумаге буквами: «Маскарад». Нет, практический вывод был в этой ситуации решительно необходим, к выводу его, к тому же, подхлестывало недавно выпитое винишко. Он еще больше горячился от этого вина, ему хотелось действия, но какое в зрительном зале могло быть действие – зрителям полагалось тихо сидеть, смотреть и слушать. Все действие здесь шло на сцене.

Рядом с завистливым школьником сидел пожилой зритель. Было трудно понять, один ли он пришел в театр или с той старушкой, что была одета в ярко-красную, прошитую бле-

стящими нитями кофту, и сидела от него по левую руку. Пожилой зритель очень внимательно смотрел на сцену и время от времени более или менее громко, впрочем, вполне в рамках приличий, так что это было слышно лишь его ближайшим соседям, делал те или иные, большей частью восторженные замечания о спектакле и игре актеров.

Рукава серенького костюма на пожилом зрителе были очень заметно потерты – это завистливый школьник разглядел еще до того, как в зале погасили свет, – а из наружного кармашка на груди торчала дешевенькая шариковая ручка. Седые волосы пожилого зрителя были аккуратно зачесаны назад. Он счастливо и беспечно улыбался каким-то своим, одному ему известным мыслям. Должно быть, в этом театре ему очень нравилось.

«Господи, какой идиот!.. Какой идиот!» – поражался завистливый школьник.

Он подумал, что пожилой зритель мог быть завзятым театралом, который приходил сюда каждый вечер. Программка, лежавшая у пенсионера на коленях, была вся исчеркана какими-то пометками.

– Каков Лассаль!.. Каков Арбенин! – вдруг воскликнул пенсионер неожиданно громко. Так, что это замечание разнеслось по всему залу и, скорее всего, долетело до самой сцены, до ушей Арбенина.

«Подхалимничает!» – пронеслось у завистливого школьника в голове. У него не было сомнений в том, что пожилой театрал подхалимничал. Но что за жалкая доля: всегда быть на вторых ролях! И если Таборский сбежал от этой доли, то пожилой театрал сам выбрал себе такое увлечение: приходит каждый вечер в театр, сидеть в темноте, смотреть с обожанием на сцену и потреблять, потреблять, потреблять «произведения» своего кумира. Но это же было не пиво!.. Пиво хотя бы не требовало подхалимажа – заплатил деньги и пей, пользуйся сколько хочешь. А что было здесь?! Заплати деньги и еще сиди – выражай, как тебе все это очень нравится! Глядишь, заметят тебя, скажет потом Лассаль: «Вот тот облезлый дурачок, который сидит каждый вечер в шестом ряду, – он мне очень нравится, он меня больше всех обожает. Правильно делает, что обожает! Меня стоит обожать!.. Особенно таким ободраным, ничтожным пенсионерам...»

– Но здесь есть новые. Кто этот франтик? – спрашивает Арбенин у Казарина.

«Франтик» – это невысокий темноволосый человек в пестрой, нарядной жилетке, с массивной золотой (конечно, это было не настоящее, а театральное золото) цепью от часов, свисавшей из кармана. Типаж актера, назначенного на эту роль, грим были таковы, что у зрителя с самого начала не возникало к его герою симпатии.

Тот, про которого говорили, подошел к Лассалю и с угодливой улыбкой произнес, явно желая произвести самое выгодное впечатление и рассчитывая на знакомство:

– Я вас знаю...

– Помнится, что нам встречаться не случалось, – ответил Лассаль. Тон его был холоден, а лицо приняло выражение едва ли не презрительное. Чувствовалось, ему уже хотелось отвернуться от навязывавшегося ему в знакомые человека.

«Так, должно быть, он и мне скажет, подойди я к нему где-нибудь на улице! – подумал завистливый школьник. – С таким же выражением лица!»

Завистливый школьник остро чувствовал, что он теряет время, что что-то надо делать. Ему было даже странно, что он вообще вошел в этот зал после всего, что с ним сегодня произошло, после всего, что он сегодня увидел и услышал. Ведь здесь он мог лишь сидеть и потреблять!.. Вроде как его развлекали! Какой жалкой ему казалась эта роль: быть просто развлекаемым! Повышать твой культурный уровень!.. Ерунда! Никогда он не был тупым потребителем чего-то, что делали другие!.. Если он и был готов играть в эту игру, то лишь играть в нее на равных с актерами: пусть будет пять актеров, но и пять зрителей, пусть не только актеров здесь уважают, но и зрителей, пусть не только актерами восхищаются, но и зрителями. Пусть зрители тоже что-то дают им, актерам, и актеры ими, зрителями, за это

восхищаются. Пусть актеры не воспринимают зрителей лишь как благодарное им, актерам, стадо, которое в нужный момент хлопает в ладоши и, встретив своих кумиров в фойе театра, униженно просит их расписаться на программке спектакля. Пусть Лассаль тоже выпрашивает у зрителей автографы!

Да, именно в этот момент завистливый школьник решил что он больше не может и не должен оставаться в зале театра. К тому же от выпитого в буфете вина его стало очень сильно тошнить.

– По рассказам. И столько я о вас слышал того сего... – неслось со сцены.

Завистливый школьник три раза подряд громко икнул. А где же Таборский?..

Он привстал со своего кресла и, вертя головой, осмотрел зал. Он увидел едва проступавшую в темноте лепнину балконов и лож, слегка поблескивавший хрусталь огромных люстр, до его ушей донеслись какие-то неясные, приглушенные шорохи и покашливания. По-прежнему шел спектакль... Да, вот уж чего он сам от себя не ожидал, так это такой покорности: после всего, что ему наговорила пожилая женщина, которая продавала театральные буклеты, после разговора про яркие и неяркие профессии, он вместе с остальными баранами-зрителями приплелся в этот зал и принялся потреблять наравне со всеми предлагающуюся со сцены жвачку. Хотя к баранам-зрителям он не испытывал особой злости, наоборот – ему было их жалко: скорее всего, они просто не понимали всей униженности собственного положения. Баранам-зрителям не хватало ума для того, чтобы осознать, в каких пошлых, тупых, ничтожных и никем не уважаемых потребителей всего этого «искусства», хотя еще надо проверить, что это за «искусство», – искусство ли это на самом деле? – их превращают в угоду вот таким вот Лассалям. Да что там Лассаль – он тоже был лишь частичкой большой театральной системы. Быть может, даже ее жертвой... Да где же этот чертов Таборский?! Неужели он уже вышел из зрительного зала?! Хотя, с другой стороны, только такой уход и мог быть единственным правильным решением, избавлением от позора!.. Самому развлекать и раздавать автографы – это одно, но так быть развлекаемым – это совсем другое!.. Куда же все-таки этот Таборский запропал?.. Ведь вроде после того, как в зале погас свет, из него никто не выходил!.. Может, Таборский, поджидая кого-то у входа в театр, все-таки не успел на спектакль?.. Ну да Бог с ним, с Таборским!.. Теперь уже совсем не до него: самому уходить надо!.. Уходить отсюда прочь!.. Уходить!..

Между тем, как ни старался Шприх завести дружбу, – все было тщетно. В конце концов, когда он наконец отошел в сторону, Лассаль проговорил со злостью: «портрет хорош, – оригинал-то скверен!»

Самая большая масса скверных оригиналов сидела в зрительном зале!.. И потому, не мешкая, из него надо было уходить!.. И даже не уходить, а бежать...

От выпитого вина завистливому школьнику становилось все хуже и хуже.

– Каков Арбенин! Каков!.. Как играет! – продолжал на свою беду восторгаться пожилой зритель. – Стоит посмотреть!.. – прошептал он, наклонившись к завистливому школьнику.

В этот момент завистливый школьник наконец не выдержал, – встав со своего кресла он проговорил так, что было слышно всему залу:

– Посмотреть-то стоит, потому что, спору нет, Арбенин хорош!.. Но вы-то, зритель, сами что же?! Вы-то, зритель, каковы? Что же, все один Арбенин хорош?! А вы сами-то, зритель – что?! Получается, вас тут вовсе нет, на вас тут никто внимания не обращает. Лассаль хорош, спору нет!.. А вы-то каковы и где?! Нет тут вас, зритель, вовсе, вот что!

– Почему же, я есть... – опешил пожилой зритель. – Молодой человек!.. Ты?! Я есть!.. – от растерянности он тоже заговорил достаточно громко.

– Это вы там где-то есть, где вы ходите или ходили когда-то на свою работу!.. Надо ли вам так здесь унижаться?!.. Ведь пойдут же они, в конце-концов, все к черту вместе со своим театром!.. Бедный пожилой зритель, не унижайтесь! – странно, но в тот момент, когда

завистливый школьник поднялся с кресла и распрямился, извержение, которое начиналось у него где-то в желудке, замедлилось и тошнота на мгновения слегка ослабла.

– Я никак не унижаюсь... – пожилой зритель изумился еще больше и посмотрел по сторонам. Он понимал, что весь зал и, наверняка, актеры со сцены смотрят теперь на них. Пожилой зритель не знал, как себя вести, он попытался схватить завистливого школьника за воротник, но тот увернулся.

– Вас здесь с вашей неяркой профессией просто не существует, с тем неярким успехом, которого вы добились в жизни... Мне очень жаль вас!.. – на глаза у завистливого школьника наворачивались слезы. – Жалко вас, правда! Жалко!.. Мне вас жалко!.. Вы – жертва!.. Несчастливая и жалкая жертва!..

Между тем Арбенин-Лассаль начал говорить какие-то важные по сюжету слова, но его монолог оказался полностью сорванным. В этот момент никто уже не следил за тем, что происходило на сцене. Сидевшие в зале зрители смотрели на громко кричавшего завистливого школьника и пожилого театрала, а не на великого актера Лассалья, игравшего роль Арбенина.

И тут – о ужас! – Арбенин перестал говорить и повернулся лицом к залу, хотя по мизансцене он не должен был этого делать. Пристально вглядываясь в полумрак зрительного зала, он, не мигая, смотрел на завистливого школьника. Да, точно, ошибки быть не могло: Лассаль смотрел именно на завистливого школьника.

Но завистливый школьник ничуть не испугался этого пристального взгляда, ему теперь было все равно: пусть Лассаль смотрит, пусть великий актер даже взбешен – Лассаль сам это заслужил. Нечего было делать идиотов из зрителей! Зрители не такие идиоты! Есть и среди зрителей толковые люди, которые понимают что к чему.

– Мне-то самому наплевать. Я театром не интересуюсь... Каков Арбенин или он совсем не каков – мне это без разницы... Мне вас, дурака, жалко!.. – громко, на весь зал проговорил напоследок завистливый школьник.

На коленях пожилого театрала был приготовлен букет роз.

– Слушай, ты, мерзкий мальчишка!.. – из-за душивших его чувств пожилой театрал так и не смог договорить фразы, а вместо этого замахнулся букетом роз и швырнул его в завистливого школьника.

Букет попал завистливому школьнику в лицо и немного его расцарапал.

– Завистник! – выкрикнули из зала с негодованием.

– Я не завистник!.. Но оправдываться я перед вами не стану!.. – огрызнулся завистливый школьник, продираясь к выходу и спотыкаясь при этом о чьи-то коленки. Пару раз его больно ущипнули за ногу какие-то тетеньки. Но и он отдалил немало ног. Какой-то дядька, так же как и пожилой театрал, попытался схватить его за ворот, но завистливый школьник оттолкнул его руку.

С разных концов зала к нему уже спешили несколько билетерш.

Завистливый школьник все-таки выскочил за двери, и едва он оказался в узком коридоре, как его сильно, фонтаном стошнило. Это был конец. Он решил, что теперь, за крики в зале, за произведенное в театральном коридоре безобразие, его обязательно должны забрать в отделение, а худшего завершения истории в театре, чем привод в милицию, придумать было невозможно, потому что из милиции обо всем обязательно бы сообщили в школу, а после такого сообщения, какая могла быть школьная дискотека?!.. Всем его мечтам и планам придет конец!..

Конец!..

И из-за кого навалилось на него это несчастье?!.. Из-за ярких и впечатляющих людей, встреченных на улице, из-за пожилой женщины, продававшей буклеты с ее разговорами про яркие и неяркие профессии, из-за великого актера Лассалья, из-за этого пакостного театра с лицедеями на сцене и на портретах в театральном фойе. Ох, и нехороших же людей повстре-

чал он на свою беду сегодня!.. И как ни стремился он раскрыть их коварные подлости, как ни противодействовал им, а все-таки они его настигли, достали, победили, испортили жизнь! Все-таки один-ноль оказался в их, а не в его пользу!.. И Таборского с его деньгами они унизили!.. Они привычно, как делают это каждый вечер, унизили зрителешек-баранов. Пожилого театрала они в который раз уже унижают. Черт возьми, как нехорошие театральные люди, получается, сильны!..

Пока завистливый школьник об этом думал, он стоял, оцепенев, лицом к произведенному им бесчинству: часть стены театрального коридора, ковровая дорожка и стул были безобразно перепачканы, и он даже сам чувствовал, как отвратительно здесь теперь пахло, хотя от подлинной силы запаха завистливый школьник, может, ощущал только одну десятую часть.

Но завистливый школьник тем не менее не раскаялся, а со злостью подумал: «Стоило метнуть содержимое на портреты актеров, на их отвратительную портретную галерею! Чертовы угнетатели!»

А вокруг завистливого школьника тем временем все сильнее разгоралась суета: билетерши несли тряпки и ведро с водой, какая-то тетенька, стоявшая рядом с ним, непрерывно обругивала его последними словами, но он не обращал внимания на эту ругань. Завистливый школьник понимал, что он действительно задал трудившимся в театре теткам неприятной, лишней работы. А они-то как раз в его теперешнем тягостном положении никаким образом не виноваты.

Вот одна из билетерш с размаху ударила завистливого школьника по лицу половой тряпкой, и он медленно, совершенно не имея больше ни на что сил, отошел чуть в сторонку. Странно, завистливый школьник уже словно позабыл, что собирался уйти из театра, что именно поэтому он вышел из зрительного зала. Завистливый школьник как будто чего-то ждал, как будто то, что с ним произошло, принесло ему некоторое физическое облегчение, но никак не способствовало разрядке напряженности в его душе. Завистливый школьник стоял так, словно он ждал чего-то еще, словно до сих пор с ним не произошло чего-то главного, того, что только и могло теперь, после всего, что случилось с ним в этот вечер в театре, умиротворить его возмущенную душу. Он ждал еще чего-то, хотя прекрасно понимал, что ничего больше не будет, кроме разве что появления милиции, которая возьмет его под руки и уведет отсюда. И даже то, что никто, кажется, не спешил до сих пор за милицией, его не радовало. Вонючие испарения, что исходили от безобразия, которое театральные тетушки именно теперь вытирали, уже распространились из коридора по всему фойе театра. В завистливом школьнике не было ни одной мысли об его любимом увлечении, об его любимой радиоэлектронике. Мысли и мечты, которые были связаны с радиоэлектроникой, были раздавлены черным туманом, точно он был все еще там, в зале, вместе с остальными зрителями, и свет по-прежнему был погашен.

Коридор, в котором сейчас находился завистливый школьник, огибал зрительный зал дугой и одной стороной выходил в фойе театра и к гардеробу, а другой своей стороной заканчивался стенкой, в которой была небольшая дверь, которая, судя по всему, была заперта на ключ и обычно никогда не открывалась. Было неясно, куда вела эта странная запертая дверь... Но вдруг раздался громкий лязг проворачивавшегося в замке ключа, потом странная дверь дернулась, раздался громкий треск, но дверь не отворилась, – что-то мешало ей сделать это.

Завистливый школьник невольно устремил свой взор к странной двери в конце коридора, но теперь уже слева от дверей, что вели в зрительный зал, через которые он вышел только несколько минут назад, послышался скрип прикрываемых дверных створок. Завистливый школьник повернул голову на этот скрип и увидел, что тот самый пожилой театрала, который сидел рядом с ним в зале, теперь вышел в коридор и медленно к нему приближается.

Но и справа, там где была странная дверь в конце коридора, что-то происходило: вновь послышался сильнейший треск, точно кто-то, пытаясь отворить дверь, резко толкал ее. Наконец давно не смазывавшиеся петли противно заскрипели. Завистливый школьник резко обернулся на этот скрип и остолбенел еще сильнее чем прежде: из распахнувшейся загадочной двери появилась нога Арбенина в лоснившейся мертвым блеском фракной брючине, его лаковая туфля, та самая, которая так запомнилась завистливому школьнику во время спектакля, и вот уже великий лицедей Лассаль показался собственной персоной на пороге странной двери в конце коридора. Из-за плеча великого актера Лассалья высовывалась голова Шприха, который мерзко улыбался некой дьявольской, предвкушавшей что-то недоброе улыбкой. По росту Арбенин был выше, чем Шприх, и тому приходилось привставать на носки, чтобы увидеть что-то из-за его спины.

Какая-то гроза должна была вот-вот разразиться над головой завистливого школьника. Теперь он решил, что миновать отделения милиции не удастся почти наверняка.

Получив от разъяренного Лассалья хлесткую, тяжелую пощечину, завистливый школьник упал на пол и попытался закрыть лицо руками... Но ударов больше не последовало. Лишь Шприх неловко и потому совсем не больно пнул завистливого школьника концом туфли по мягкому месту.

Билетерши онемели, полностью растерявшись и не зная, как им себя вести.

Вдруг завистливый школьник разревелся, как маленький ребенок, размазывая ладонью по лицу слезы и уже выступившую кровь.

Пожилый театрал подошел ближе и наклонился над ним.

– Мне же было интересно. Такой вкусный спектакль!.. Почему же ты мне не дал им насладиться?!.. Духовная пища не менее важна для человека, чем пища телесная. Почему ты меня так обидел? А?.. Такой вкусный спектакль! Не хочешь, чтобы я духовную пищу вкушал?!.. Ведь не каждый же день доводится такое посмотреть. Театр – это мое. Я его очень люблю! И всегда любил, даже сам в самодеятельности игрывал. И сейчас люблю. Обожаю, можно сказать... Хотел насладиться... «Маскарад»!.. Любимый с детства Лермонтов. Михаил Юрьевич!.. Так вкусно было!.. Правда, ей-ей, я слово это люблю: «вкусно»... Точное словцо!.. А ты!.. Как же дошел до жизни такой?!.. Старику, пенсионеру – а не дал!.. А?!.. Старой перечнице не дал вкуснотой себя побаловать. Чем же перечница-то провинилась?! А?!.. – произнес пожилой театрал. В его лице было тихое страдание. Серые волосы растрепались, обнаружив круглую блестящую лысину, придававшую голове пенсионера еще более беззащитный вид. Его дешевенький галстучек съехал на бок, а шариковой ручки в кармане пожилого зрителя больше не было. Быть может, шариковая ручка выпала на пол и теперь валялась где-то рядом со смятым букетом роз.

Пожилый театрал помог завистливому школьнику подняться с пола, затем, достав из кармана носовой платок, энергично принялся оттирать с его лица кровь.

– Мальчишка!.. Щенок!.. Дурак!.. – при этом приговаривал пожилой театрал. – Но бить-то его – чего?..

– Не надо... Ну не надо... – завистливый школьник отвел от себя руку с платком и сделал шаг в сторону от пожилого театрала.

– Что же, по-вашему, просто лениво сидеть и быть развлекаемым – это удовольствие?! Это вкусно?!.. – спросил завистливый школьник у пожилого театрала, судорожно сглотнув при этом слюну.

– А разве нет?! Вкусно! – убежденно ответил пожилой зритель. – А вот насчет лениво сидеть – это ты не разобрался...

– А быть в центре внимания – это еще более вкусно!.. – неожиданно прокричал завистливый школьник.

– Ну знаешь, молодой человек, ты какой-то тупой! – поразился пожилой театрал. – Тебя ничем не прошибешь...

А завистливого школьника уже было нельзя остановить:

– Может, вы еще скажете, что все профессии являются одинаково яркими? – спросил он у тех, кто стоял вокруг него в театральном коридоре.

– Яркими?!.. Что значит яркими? – удивился пожилой театрал.

– Пойдите... – вдруг вспомнил что-то завистливый школьник. – Вы же... Вы же сами себя только что выдали!.. Вы же играли в самодеятельности. Значит, стремились хоть как-то быть причастным к яркому, к яркой актерской профессии. Точно, вы сами себя выдали! Ох, как вы себя выдали!.. Я полностью прав! Прав!.. Я-то никогда в самодеятельности не участвовал, к ярким профессиям не стремился. Я радиоэлектроникой, электроникой... – завистливый школьник засмеялся. История показалась ему очень простой и определенной.

В эту секунду завистливый школьник получил вторую пощечину от Арбенина-Лассалья.

Отшатнувшись, завистливый школьник тихо проговорил:

– А между прочим, в средние века профессия актера была самой презираемой. Я и сейчас вам нисколько не завидую, я просто не хочу, чтобы вы за мой счет удовлетворяли свое большое самолюбие.

Завистливый школьник вдруг почувствовал ужасную слабость, он понял, что больше не может противостоять актерам.

– Товарищ Лассаль, извините меня, пожалуйста. Я даже не знаю, почему так вышло. Я же еще школьник, к вину не привык. Выпил вот и сорвал спектакль. Вы просто извините меня. Я совсем не прав, так что простите меня. Только и вы пожалейте зрителешек. Не обижайте их своим актерским преимуществом – это не по правилам... Не по правилам!.. Должны же быть и на этот счет какие-то правила! В нашей стране насчет всего есть правила. А как же иначе?..

Последние фразы он произносил, уже когда дверь за Арбениным и Шприхом притворилась и поворачивавшийся ключ залязгал в замке. В следующее мгновение кто-то потянул его за руку, завистливый школьник обернулся и увидел Таборского.

– Пойдем, я провожу тебя к выходу, – сказал тот.

Вечер в театре на премьере «Маскарада» Лермонтова для завистливого школьника был на этом закончен.

Часть первая

ДВОЙНИК ГОСПОДИНА ИСТЕРИКА

Глава 1

Человек в портьере

Пар клубами валил из приоткрывавшихся, чтобы впустить человека с улицы, дверей магазинов и маленьких торговых павильончиков, дрянного кафе, приютившегося под самой железнодорожной насыпью, где собирались выпить разливного «Клинского» по десять руб. весьма незаконопослушного вида личности, и чистенького одноэтажного ресторана быстрого питания сети «Макдоналдс», где битком студентов Автодорожного института, вырывался на мороз из вестибюля станции метро «Электрозаводская», – как раз был вечерний час пик, и народ спешил к электричкам и автобусам, – изо ртов уличных торговцев, наперебой предлагавших изголодавшимся работягам неказистые кушанья («Беяши! Чебуреки! Сосиска в тесте!»), из пасти бродячего пса, терпеливо надеявшегося на подачку от двух джигитов, нагружавших в конце, видимо, удачного торгового дня на большую расхристанную телегу с маленькими железными колесиками опорожненные ящики из-под марокканских мандаринов и о чем-то весело переговаривавшихся на родном наречии... Минус тридцать, а жизнь на этом бойком рыночном месте не замирала ни на минуту! Старый фабричный район, как и зиму, и две, и три назад, покупал здесь пиво, сигареты и хлеб, пересаживался из троллейбусов на электрички, толкался, изрыгал потоки нецензурной брани, почтительно сторонился милиционеров и приобретал на лотках последний номер газетки «Спорт-Экспресс Футбол». Златоглавая, закутавшись во все, что можно было извлечь из шкафов и гардеробов, не очень-то и испугалась морозов, жила своей обычной жизнью, хотя и ожидала с нетерпением оттепели, которая, вопреки прогнозам «Метео-ТВ», запаздывала уже почти на целую неделю.

Весьма образованного вида мужчина не старых еще лет, с бородкой клинышком и в простеньких очках-велосипедах, с портфелем в руках, но странно для своей внешности одетый в наглухо застегнутый на все пуговицы светлый бараний тулуп с поднятым воротником, большую серую шапку-ушанку из волка и обутый в самые обыкновенные белые русские валенки, купил у бабки пару пачек сигарет, протолкался через тесную площадь, прошел через пешеходный тоннель и затем нырнул в арку, слева и справа – по продуктовому магазину, сверху – занавешенные окна просторных квартир, немного попетлял между большими кирпичными сталинскими домами и наконец набрел на красно-белое здание старой школы, в котором призрачно светился только ряд окон на втором этаже, а в них виднелось несколько силуэтов, отчаянно жестикулировавших и то сходявшихся, то удалявшихся друг от друга.

Перед самой входной дверью мужчина остановился и еще некоторое время сосредоточенно докуривал, глядя исключительно себе под ноги, дешевенькую сигаретку марки «Прима», которую запалил на полдороге от станции метро. Потом бросил окурки в ближайший невысокий сугроб и несообразно со своим перекурком, так, словно очень спешил, вошел внутрь школы.

Видимо, он не был в этом самом заурядном учебном заведении посторонним, да и за сегодняшний день приходил сюда не впервые, потому что сторож отнесся к его появлению как-то очень буднично, а мужчина, не поздоровавшись и не сказав сторожу ни единого слова, сразу направился в сторону лестницы, что вела на верхние этажи.

– Они уже полчаса репетируют! – словно очнувшись, прокричал ему вслед школьный сторож, но мужчина с бородкой, клинышком уже резво, по-мальчишески преодолел несколько лестничных маршей и меньше чем через полминуты вошел в просторную классную комнату, хотя и сильно обшарпанную и бедную.

Тут же ему навстречу шагнула, дико вихляясь всем телом и как-то непонятно гримасничая, маленького роста женщина – едва ли не карлица, – одетая в шутовской наряд и колпак с бубенчиками:

– Воркута, вы купили сигареты?!. Ведь вы же, конечно же, о боже, купили сигаретки?.. Не так ли?!. О, не разочаровывайте нас в вашем же приюте, наш друг!..

– Мандрова, вам подошло бы быть бомжихой, напиваться и танцевать возле метро под музыку из киоска звукозаписи! – проговорил мужчина в бараньем тулупе поморщившись, но тем не менее вытащил из кармана пачку «Примы» и ловким движением бросил ее женщине-шуту, которая не менее ловко поймала сигареты на лету, тут же вскрыла, поддев бандерольку длинным, накрашенным в морковный цвет ногтем, и, прикурив от металлической зажигалки, с наслаждением затянулась дешевеньким дымком.

Между тем никто, казалось, всерьез не обращал ни на вошедшего учителя, ни на Мандрову никакого внимания. Только еще пара человек, бывших в комнате, потянулись к пачке за сигаретками... Одним из «страждущих» был сухощавый человек с аккуратно стриженной бородкой-клинышком. На нем был черный пиджак какой-то глянцевого, очень качественной кожи, что всю отбрасывала блики в электрическом вечернем освещении, а также – темные шерстяные брюки – очень чистые и с тщательно наглаженными стрелочками. Под пиджак этот человек носил водолазку ярко-красного сочного цвета... Обут он был в блестящие во много раз сильнее кожаного пиджака лакированные туфли – слишком легкие для зимнего сезона. Выглядел он, в основном из-за этого сочетания красного и черного цветов, весьма эффектно... Впрочем, не только из-за него одного: из его отвисших карманов торчали несколько мобильных телефонов и портативная радиостанция, а еще – какой-то ужасно замусоленный и затрепанный номер журнала, по-видимому посвященный радиосвязи и электронике, раскрытый на странице, полностью занятой большой электронной схемой... Рядом с ним стояла наглухо закрытая достаточно большого размера кожаная сумища, из которой торчал электрический провод, оканчивавшийся каким-то хитрым разъемом.

Этот человек, стараясь не шуметь, непрерывно ходил туда-сюда по проходу вдоль окон и, словно ожидая какого-то звонка, который боялся пропустить, время от времени доставал из кармана один из сотовых телефонов, испытующе смотрел на его дисплей, после чего убирал телефон обратно в карман.

Взяв из рук учителя сигарету, но не закулив ее, а спрятав во внутренний карман пиджака, он, по крайней мере внешне, немного успокоился, сел на подоконник и принялся смотреть в окно, за которым виднелся заснеженный двор школы, ограда и метрах в пятидесяти – невысокий старый дом с захламленными балконами.

...Посреди комнаты на табуретке стоял молодой мужчина, закутанный, наподобие плаща или тоги, в кровавого цвета портьеру и громко читал какой-то непонятный текст, кажется, это даже был монолог. Но вот из какой пьесы?..

Учитель робко присел на одну из парт и принялся почтительно слушать...

– Проснуться в полдень в светлой, чистой комнате, в большом доме на центральной оживленной улице... – читал мужчина. – Подойти к окну, распахнуть его и увидеть, как идут по бульвару люди, как едет вдоль тротуаров троллейбус, как веселые школьники выбежали откуда-то из-под арки и покупают в киоске мороженое... И на перекрестке стоит веселый аккуратный милиционер и регулирует движение. И светит солнце!.. И уже несколько дней, как наступила весна!.. И знать наверняка, что я везде, всюду – первый!.. И если и вспомнить Лефортово – то только вскользь, мельком... Светит солнышко... Радуются люди!.. И кругом

блеск такой, что никакому театру и аэропорту не сравниться... Проснуться в какой-то вечно блестящей жизни, где есть только большие, самые престижные дома, и улицы – только оживленные и центральные... Где полно успеха и внимания, где все газеты печатают только мои портреты!.. Где в шкафах у меня только роскошные одежды, – возможно ли это?! Разве это не глупо и не несбыточно?! Но ничто другое уже не может помочь мне!.. Если я не обнаружу себя вдруг, как можно скорее, в некоем совершенно идеальном, поросычем счастье, я просто больше не выдержу!.. Мне нужно такое усиление счастья, что просто... Меня не устраивает нормальная жизнь... Мне нужно постоянное утро поросычьего счастья... Пойдите!.. Я, кажется, сам немного запутался... Чего же мне нужно?! Утро чего мне нужно?! Мне нужно постоянное утро после избавления... Вот накануне я наконец-то избавился от чего-то ужасного, мрачного и страшного, что ужасно тяготило меня, забылся наконец сном, и вот – наутро я проснулся, обнаружил себя в светлой чистой комнате в большом доме на центральной оживленной улице и тут вспомнил... Боже, наконец-то, как я счастлив, – я же наконец избавился!.. И тут я подхожу к окну, распахиваю его и вижу – троллейбус, пешеходы, жизнь, движение, яркое солнце светит!.. Остановись, мгновенье, ты прекрасно!.. Как остановить это мгновенье?!

Закутанный в портьеру мужчина на мгновение замолчал, делая, как ему казалось, многозначительную паузу, потом продолжил:

– И ведь ничто другое не будет избавлением... Нужно только это!.. Только это можно считать единственной целью жизни!.. После этого мой мозг наконец выработает тот самый, единственно нужный гормон счастья – химическое вещество, которое разольется вместе с кровью по всему организму...

Тут он вновь сделал паузу, и она была неверно истолкована одним из находившихся в классной комнате – молодым человеком в форме курсанта военного училища, – потому, что тот решил – выступление завернувшегося в портьеру самодеятельного артиста закончилось. Курсант спросил:

– И что же?!

Возможно, он вообще не понял, что это был монолог из пьесы, или это, на самом деле, не было никаким монологом, а просто стоявший на табуретке высказывал свои мысли, но почему тогда он стоял на табуретке, завернувшись в портьеру, словно намеренно стараясь подчеркнуть, немного гротескно, впрочем, всю ненатуральность, театральность, придуманность происходившего?..

Читавший монолог не ответил на заданный вопрос сразу...

Тем временем с другой стороны раздался еще вопрос:

– Вы сказали, «жизнь, где полно успеха и внимания, где все газеты печатают только ваши портреты...» Это что – «Хорин»?.. Вы полагаете, что «Хорин», занятия в «Хорине» принесут вам такую популярность?! Такую славу?! Вам что же, вообще, для счастья непременно необходима слава?.. Вы хотите видеть себя на страницах газет?!

– А почему бы и нет?! – на этот раз моментально откликнулся человек, еще минуту назад произносивший свой монолог. – В конце-то концов я же не просто так, не с бухты-барухты двинул в самодеятельные артисты!.. А артисту непременно необходима настоящая большая слава!..

Курсант, так и не дождавшись ответа на свой вопрос, продолжал настаивать:

– И что же?.. При чем тут «Хорин»?.. При чем тут ваш... наш самодеятельный театр?.. Я сегодня в первый раз, поэтому путаюсь... – пояснил курсант и продолжил. – Вы сказали про какие-то портреты, про центр внимания... Вы что, полагаете, что этот самодеятельный театр окажется в центре внимания... всего мира?! И что самодеятельный театр как-то приведет вас к роскоши?!

– Черт возьми, я понимаю, что вы, товарищ курсант, простите, не знаю, как вас зовут, здесь первый день, вы, так сказать, не знаете, да и не можете знать (естественно, коли вы здесь первый раз) всей предыстории... – стоявший на табуретке артист самодеятельности заговорил уже совсем другим, не столь восторженным тоном, каким он читал свой «монолог из некой пьесы».

– Да-да!.. Он здесь первый раз!.. – откликнулась за курсанта тетенька средних лет в теплой, домашней вязки кофте и большим пуком седеющих волос на затылке. В руках она держала блокнотик на пружинке и дешевенькую шариковую ручку, время от времени делая в нем какие-то пометки крупным размашистым почерком. – Он ничего не знает!.. Ничегошеньки!.. Это мой племянник!.. Но он очень умный, очень понятливый... И хоть его отец, муж моей сестры, и отдал его в военное училище, он, знаете ли, с детства был очень неравнодушен к поэзии!.. Все стихи на елках читал!.. Сам сочинял и читал!.. Бывало, выйдет на середину зала к елке и читает...

Молодой человек, курсант, смутился и даже зарделся. От смущения принялся теревить пальцами кончик длинного, тоненького носика. Потом он принялся отчего-то пристально смотреть на свои часы. Часы были «Командирские» с большими красными звездами, каким-то танком, парашютом, изображенными на циферблате, большими стрелками и металлическим браслетом. Курсант смотрел на них что-то уж слишком пристально.

– Отлично!.. Отлично, что он у нас поэт!.. Поэты нам нужны!.. – немного развязно, даже нагло продолжал человек, завернувшийся в портбюру. Тон его уже ничем не напоминал тот, которым он читал свой монолог. Он продолжил:

– Да... Я понимаю!.. Вы не знаете предыстории... Черт возьми!.. У меня нет времени объяснять... Нормальная жизнь – избавление от чего-то мрачного и тяготившего – организм тут же начинает вырабатывать гормон счастья, который есть самое обыкновенное химическое вещество!.. Вот такая последовательность событий... Воздействие событий на психику, воздействие событий на настроение – самое главное в этой последовательности. Мне нужно одуреть от впечатлений, которые должны свалиться на меня враз, в короткий промежуток времени, и одуреть настолько, чтобы я на время вообще перестал испытывать какие бы то ни было чувства!.. Потом очнуться, и чтобы дальше все пошло в лихорадочном темпе... Настроение... Но темп, темп, лихорадочный темп – это самое важное!.. Не приходите в себя!.. Нужно столько важных и потрясающих событий, чтобы не было времени и возможности даже пытаться приходиться в себя...

– Эх, вот вы так, уважаемый Томмазо Кампанелла, сказали, и как-то сразу светлее стало, веселее!.. – проговорил, обращаясь к тому человеку, что стоял на табуретке, один дедок лет восьмидесяти, регулярно ходивший в «Хорин». – Ей-богу, веселее!.. Я вот, когда Зимний дворец в леворуцию брал, мне тоже, примерно на этот же манер, весело было...

– Вот врет!.. – тихонько проговорила Мандрова, наклонившись к Воркуте. – Он хоть и старый, а в «леворуцию-то» его еще на свете не было!..

Дедок этого, естественно, не слышал и продолжал:

– Как-то вы здорово сказанули: чтоб в темпе все пошло, чтоб от нормальной этой жизни избавиться!.. Рутину, значит, чтоб преодолеть!.. Мы тогда, когда Зимний брали, – тоже в темпе, тоже от прежней, нормальной жизни избавлялись... Мол, время – вперед!.. Сейчас нам в «Хорине» на тот же манер надо!.. А то дома – скучища... Да бабка все ворчит... Нет, ей-богу веселее!.. Правильно это вы рассуждаете!.. Здорово!..

– Правда, товарищи, здорово?! – обратился дедок к остальным хориновцам.

– Разрешите папиросочку... – и он протянул руку с оттопыренными двумя пальцами к Воркуте. – Сигареточку...

Тот молча угостил его «Примкой».

– Вот я тоже помню, после леворуции, при нэпе... В кабачке одном было... – начал было дедок, разминая сигарету в стариковских пальцах. – Вино, музыка, приятное общество...

– Темп, конечно, это здорово!.. – проговорил в некоторой растерянности курсант. Потом, повернувшись к своей тете, сказал:

– Тетушка, а ведь я сегодня договорился с Васей... Вася заберет нас на своей «копейке» и отвезет в казарму... Только там сегодня горячей воды нет... Как же я мыться-то буду?.. Я же грязным-то не засну!.. Уж извините!.. Сами в детстве к чистоте приучили!.. Я не виноват!.. Нисколючки... Сами приучили!..

– Ужасно!.. – проговорил актер самодеятельности, завернутый в портьеру. – Ужасно, когда там, где живешь, горячей воды нет. Я, например, без горячей воды покрываюсь крокодилей шкурой. Чешуей!.. Мне обязательно надо часто споласкиваться горячей водой... Иначе – чешуя!.. В противном случае я превращаюсь в настоящего крокодила... Или в подобие библейского прокаженного Лазаря, покрытого струпьями! Знаете, был такой...

– Нет, я не могу вас так сегодня отпустить!.. – сказал человек в черном кожаном пиджаке и водолазке сочного красного цвета. – Мне необходимо поддерживать связь со всеми вами постоянно.

– Но мне надо ехать!.. – проговорил курсант таким тоном, словно он обижался в эту минуту на незаслуженное оскорбление. – Что же я могу поделать?!

Он даже встал и засобирился, отыскивая в куче зимней одежды, наваленной на одной из парт в последнем ряду, свою шинель и форменную шапку-ушанку. Поднялась со своего места и его тетя, впрочем, сделала она это совершенно без всякой охоты.

Вероятно, к этому моменту лицо вновь прибывшего с бородкой и очками-велосипедами действительно приняло чересчур серьезное, даже угрюмое выражение, хотя угрюмость его, скорее всего, была только казавшейся, потому что у него не было повода для того, чтобы быть мрачным, но женщина-шут все-таки подскочила к нему и громко закричала:

– Воркута все портит!.. Посмотрите, с какой кислой мордой он здесь уселся!.. Какого черта я нацепила на себя этот дурацкий колпак?!.. Чтобы он обзывал меня бомжихой?!.. – с этими словами она стащила с себя шутовской колпак и нахлобучила его на голову пришедшего. Тот нисколючко не противился, но губы его брезгливо скривились.

Молодой мужчина на табуретке с недоумением смотрел на женщину-шута.

– А ты что на меня уставился?.. – проговорила она, повернувшись к нему...

– Что ты тут читаешь?.. Это что – смешной монолог?.. А вы что все здесь ведете смешные разговоры?!.. А ты, дедок, чего раздухарился?!.. – сказала она, обращаясь к дедку. Потом опять – к тому человеку, что стоял на табуретке и которого дедок назвал Томмазо Кампанелла:

– Нет, это что – смешно?!.. Я не могу ничего понять!.. Ты же вчера говорил всем нам, что Лефортово тебе нравится!.. А теперь получается, что – нет!.. Так нравится или не нравится?!..

– Я еще сам не решил... – тихо и пока еще не обращая внимания на агрессивный тон Мандровой, а потому спокойно ответил мужчина. – Может быть, и не нравится... А может, очень, очень, до безумия, до того, что я скорее умру, чем уеду отсюда куда-нибудь, нравится!... Это от многих моментов зависит... Я еще и сам не могу никак в этом разобраться... К тому же я сейчас достаточно плохо себя чувствую, так что мне тяжело на что-нибудь решиться...

– Ну хорошо!.. – сказала женщина-шут и злобно посмотрела на Воркуту, неосторожно упомянувшего в связи с ней «бомжиху». – Ну хорошо... Допустим, не решил... Допустим, тебе плохо, и ты не в состоянии ни на что решиться... Но юмор-то где?.. Где в твоём монологе – смешное?.. Где комедия?.. Ты бы лучше какую-нибудь юмореску из журнала «Вокруг смеха» разучил и нам здесь представил... В лицах!.. Вот это было бы по теме!..

– Это была моя исповедь... – точно бы извиняясь, проговорил тот, что читал монолог. – Я хочу, чтобы эту исповедь произносил персонаж, которого я буду играть в той пьесе, которую мы все вместе напишем... Все, что я говорил, – это про меня...

Сказав последнюю фразу, он отвернулся в противоположную сторону от собеседников, какие-то мгновения так стоял, кажется, даже трогая кончик носа, словно бы заразившись этим жестом от молоденького курсанта военного училища, потом вдруг повернулся обратно ко всем лицом и, лукаво улыбаясь, произнес:

– А, может, и не про меня!.. – рассмеялся и добавил. – Я еще не решил... В конце концов все это можно считать только текстом из пьесы. А текст из пьесы не обязательно нужно соотносить с личностью... С личностью автора...

– А вот тут, хочу я заметить, и есть самая что ни на есть настоящая неправда!.. – проговорил даже как-то радостно дедок... – Потому как всего только несколько дней назад ты мне, мил человек, говорил, что скоро в Лефортово будет труп... Твой труп... Говорил, что покончить с собой собирался, и даже говорил про таблетки, которые принимаешь... Вот они, таблетки-то!.. Говорил про таблетки-то?!.. А, сознайся?!

С этими словами дедок действительно достал из кармана облатку каких-то таблеток, хориновцы даже успели заметить, что это, кажется, был какой-то недорогой транквилизатор.

Дедок тем временем продолжал:

– Забыл, как я тебе разъяснил, что таблетки – это одна химия и никакой пользы душе, а потом я тебя портвейном и водочкой отпаивал и ты у меня на руках в рыданиях трясся и говорил, что обязательно возьмешь на себя грех через Лефортово, и говорил даже, что знаешь человека, который вот так же через это наше распроклятое Лефортово уже с собой покончил – в петлю влез, а я тебя еще больше отпаивал, а потом ты успокоился, уснул у меня в комнате, а на утро-то, наверно, ты действительно ничего и не вспомнил... Получается, и вправду забыл...

Тут какая-то тень пробежала у дедка по лицу...

– Получается, я, дурак, для красного словца тебе про все напомнил...

Потом, без всякой связи с предыдущим, он проговорил:

– А таблетки-то, пока ты спал, я у тебя из кармана-то и вытащил, поскольку это, правда, одна химия и вред, а если плохо, то ты уж лучше пей... Я тебе всегда компанию составлю.

Тут дедок окончательно замолчал... Но потом все же добавил:

– У меня в леворуцию таких черных мыслей никогда не было!.. Ты уж лучше, чем того... Лучше делом каким займись!..

– А ты правильно говоришь, дедок!.. – мрачно произнес самодеятельный актер, стоявший на табуретке. – Вот я, пожалуй, как ты говоришь, «леворуцию» и устрой!.. А что?! «Леворуцию» в театральном искусстве!.. А, Радио, как?!

Но их перебила женщина-шут:

– Какая вам революция в театральном искусстве... Жалкие вы скоморохи!.. Вы что как актеры – нули, что как режиссеры – та же цифра... Да и драматурги, полагаю, недалеко от режиссеров и актеров в вас ушли... Бездари!..

– Господин Радио!.. – с жалобой в голосе обратилась женщина-шут к человеку в черном пиджаке и красной водолазке, что сидел теперь на подоконнике и курил. – Ну разве я не права?! Ведь мы же договорились, что сегодня мы станем отрабатывать ю-мо-ри-стическую... Ю-мо-ри-стическую, слышите вы, составляющую нашего будущего спектакля!.. – она опять злобно посмотрела на учителя Воркуту. – Будем смешить, веселить друг друга... Импровизировать веселые сценки... Разыгрывать этюды на смешные темы... А они что несут – это же кошмар какой-то!..

– Я не хочу разыгрывать сегодня никаких этюдов на смешные темы... Мне вообще сегодня совсем не смешно и не весело... Я вам говорил уже... – теперь уже мрачно произнес

человек, что был завернут в портьеру... Мне надо решить одну большую, одну огромную проблему... У меня все время отрицательные эмоции!..

Но Мандрова, словно даже и не слушая его совершенно, продолжала говорить:

– Я вот костюм шута прошедшей ночью сшила – глаз не сомкнула... Анекдоты собиралась рассказывать... Вот например... «Возвращается муж из командировки домой раньше положенного времени...»

Но рассказать анекдот ей не удалось.

– А вы знаете, что произошло неделю назад здесь неподалеку?.. – прерывая женщину-шута по фамилии Мандрова, проговорил вдруг Воркута, – видимо, ему надоело ее слушать, а может, он действительно счел то, что он случайно прочитал, когда взгляд его упал на клочок газеты «Криминальные новости», валявшийся на полу между партами, очень важным, – последние тридцать секунд он сидел согнувшись, словно пытаясь отыскать на полу какую-то упавшую мелкую вещь – видимо, пытался разобрать мелкий газетный шрифт.

Учитель поднял обрывок газеты с полу... Но его, в свою очередь, перебил Господин Радио в черном кожаном пиджаке и водолазке сочного красного цвета:

– В нашей ситуации... В наших неярких профессиях смеяться по-обычному – нет смысла... Ведь мы не артисты. Кто, как Воркута, – учитель, кто, как я, – инженер-радиоэлектронщик, кто, как вы, Мандрова, – редактор маленькой газетки. Мы не играем спектакль, а играем «в артистов»... Потому что играть по-настоящему у нас не получится, если бы мы могли по-настоящему, то есть хорошо, мы бы настоящими, профессиональными артистами и были бы... Штука вся в том, что мы знаем, я знаю... Мы все... Да, наверное, все знаем: мы не профессионалы. И никогда ими не будем. И если мы станем стараться «под профессионалов», то это будет одна убогость и жалкость. Но и забыть про профессию артистов мы не можем... Значит, нам нет смысла «по-настоящему» (не сможем), но нет и смысла «как любители»... Не настолько мы глупы и не настолько в нас отсутствует гордость, и не настолько мы себя не уважаем... Пародировать профессионалов – нам это не по плечу. Мы слишком слабы, ничтожны как актеры. Так давайте пародировать любителей... Тут не так... – чувствовалось, что человек в кожаном пиджаке и водолазке сочного красного цвета – Господин Радио, немного путается в своих рассуждениях. От натуги, с какой они ему давались, он раскраснелся и даже принялся массировать пальцами лоб и виски. – Как можем! Как можем!.. Потому что пародия – это тоже искусство, которое, боюсь, нам не по плечу... И зря вы, Мандрова, со своим анекдотом. Это слишком всерьез. Слишком по-любительски. Так дураки поступают, когда подставляются под удар. Пересказывать анекдоты из «интернета» – это слишком обычно! А вот шутовской колпак пошили не зря! И костюм шута – не зря!.. Вот про это я и говорил, когда хотел, чтобы мы проработали юмористическую составляющую. Да, Томмазо Кампанелла забрался на табуретку; да, он обернулся в портьеру... Ну и что – пусть он будет... Пусть он выглядит, как мальчик, который изображает перед друзьями-мальчиками Гамлета. В нашем самодеятельном театре, который мы называем «Хорином», очень важно избегать как настоящей серьезности, так и настоящей шутки... И то, и другое получится у нас плохо! Важно запутать зрителя, затеять с ним игру, в которой дураки не-артисты обманывают зрителя, который думает, что перед ним – артисты, пусть и любители... И все же зритель – дурак! А дураки-хориновцы – вовсе не дураки... А потом, после того как зритель поймет, что все – шутка, дурная пародия и издевательство, пройдет немного времени, и он поймет, что – не шутка. Что многое, почти все было всерьез!.. А потом – опять подумает: «Нет, это была шутка, кривляние...» Это единственный способ показать, что мы не воспринимаем эту жизнь, которую нам навязывают, и не собираемся с ней мириться... Мы не собираемся посещать уроков, которые нам не нравятся!.. Сейчас в мире слишком многое повязано на театре, на лицедействе, на Голливуде... Сейчас Голливуд в Голливуде, как матрешка, сидит и Голливудом погоняет. Сейчас страшно оказаться толстым пассивным

зрителем с поп-корном в руках... Сейчас непременно надо лезть в голливудские шикарные артисты... В этом главная отчаянная стратегия!.. Жаль, мы пока вынуждены репетировать не у себя, не там, не в зале... Ну ничего, вот-вот декорации будут готовы, запах краски выветрится и мы вернемся из школы в свой театр!..

– Мне кажется, что вы, Господин Радио, совершенно не правы!.. – неожиданно проговорила Мандрова. – Ничего такого нет и в помине!.. Ну почему, например, вы говорите, что сейчас всем необходимо стремиться в голливудские шикарные артисты и в этом – отчаянная стратегия?.. По-моему, это просто бред!.. Вот мне, например, больше нравится просто быть любительницей... Я, например, прекрасно понимаю, что из меня хорошей артистки никогда не выйдет... Может, и то, что мы делаем, даже не может, а наверняка, то, что мы делаем, – это сущая ерунда и совсем не профессионально... Так мы же действительно играем... Мы развлекаемся... Мне кажется, самое прекрасное именно то, что мы именно «как любители». Мы – настоящие любители!.. И надо нам настоящими любителями и оставаться... А то, что вы в голливудские артисты собираетесь стремиться, так это, я полагаю, есть не какая-то там особенная с вашей стороны хитрость и какой-то изощренный замысел, а самый настоящий бред и сумасшедший дом!.. И ничего у вас не получится и не может получиться!.. Ну, сами подумайте, что действительно может получиться?.. Я, честно говоря, не поняла, что вы имеете в виду!.. А что, разве кто-нибудь из тех, кто здесь находится, понял, что вы имели в виду?.. Ну так – в плане практического воплощения?.. Ну что это может значить?.. Какие из этого выводы?.. Ну что, разве я не права?.. Ну, хориновцы, что же вы молчите?..

Действительно, люди, находившиеся в комнате, молчали, и создавалось впечатление, что им просто нечего сказать.

– А этот ваш Томмазо Кампанелла, – добавила женщина-шут, – просто полусумасшедший, полукривляка!.. И зря вы его, дедок, водкой и портвейном отпаивали... Зря ночевать у себя оставили, зря нянчились с ним как с маленьким... Ему только того и надо... Он же играет, изображает все это!.. Придумал себе!.. Видите ли, он ужасно страдает, потому что ему тяжело жить в таком районе, как Лефортово!.. Чего в нашем Лефортово плохого?!.. Район как район... Тоску он, видите ли, на него нагоняет... А больше он на тебя ничего не нагоняет?!.. Пить надо меньше!.. Чушь!.. Кривляние!.. Одно сплошное кривляние!.. Даром что самодеятельный артист... Вот и кривляется, как говорится, на всю железку!..

– Да, мы тоже так считаем!.. – сказал немолодой уже мужчина, который сидел на задней парте и просто читал номер журнала «Театр» чуть ли не десятилетней давности, посвященный проблемам художественной самодеятельности. На обложке журнала были изображены какие-то немолодые уже люди, подсевшие в пустом и полутемном зрительном зале поближе к симпатичной молодой девушке, судя по всему – их режиссеру-руководителю, а сами они, скорее всего, были участниками какого-нибудь самодеятельного театра. Только что с увлечением изучавший этот старый журнал мужчина проговорил (кстати, он, как и учитель Воркута, тоже носил очки, только не круглые, «велосипедики», а в толстой и широкой оправе из темной пластмассы, при этом сама оправа была квадратной формы):

– Мы тоже считаем, что с того момента, как нас покинула Юнникова, этот Господин Радио, как он сам велит себя называть, превратил работу нашего, в общем-то простого самодеятельного хора... Простого и понятного самодеятельного хора в сущий бред... Вообще стало ничего непонятно!.. Чем мы здесь занимаемся, о чем мы здесь мечтаем?.. Какие-то странные не имена, а клички – Господин Радио, Томмазо Кампанелла... Как у рецидивистов каких-то!.. Вы, Томмазо Кампанелла, на мой взгляд, действительно просто паясничаете... – он на мгновение замолчал, потом, вторя каким-то своим мыслям, заметил:

– Действительно!.. Только сейчас на ум пришло: как у рецидивистов каких-то клички!..

– А вот мы и станем рецидивистами!.. – проговорил Томмазо Кампанелла уже совершенно весело, словно только недавно и не шла речь о его каком-то предполагаемом само-

убийстве, что, в известном смысле, косвенно доказывало правоту Мандровой, когда она говорила о его крайней склонности к кривлянию и «двойному дну»...

– Точно!.. – проговорил учитель Воркута. – Вот, кстати, вы знаете, что не так далеко отсюда произошло?.. Это же, практически, связано с нашим районом... Здесь как раз про этих самых рецидивистов речь и идет. Раз у вас такая же система кличек, как у этих рецидивистов, то вам это особенно интересно должно быть!..

– Ну-ка, ну-ка!.. Про рецидивистов – это интересно!.. Про рецидивистов я обожаю!.. – проговорил Томмазо Кампанелла, тот самый человек, что стоял на табуретке, закутавшись в портьеру.

– Вы просто не понимаете того, что я вам пытаюсь втолковать!.. – проговорил, перебивая Томмазо Кампанелла и глядя на читателя журнала «Театр», Господин Радио. – Вам кажется, что все, что происходит здесь, – это только дурацкий фарс?!

– Нет-нет!.. Нам не кажется!.. – это сказал учитель Воркута. Он так разволновался, что даже от волнения, когда он говорил, у него изо рта вылетела слюна и попала на щеку Мандровой, та, скорчив гримасу омерзения, вытерла щеку ладонью, а сама отошла от Воркуты подальше.

Между тем Господин Радио продолжал:

– Вы мне никак не можете поверить, но я утверждаю, что все, что здесь происходит, – это ужасно серьезно!.. Я даже не могу вам передать, насколько это серьезно!..

– Ну, ладно!.. Нам уже пора идти!.. Тетушка, собирайтесь!.. – это курсант. Ему, кажется, действительно все происходившее надоело. Он уже надел шинель и держал в руках шапку-ушанку с воинской кокардой.

Его тетя неохотно поднялась со школьной скамьи, на которой она сидела.

Тут заговорил вновь самодеятельный актер, завернутый в портьеру, причем говорил он очень страстно, так, что даже по одному тому, как он говорил, все участники репетиции должны были проникнуться к нему безусловным доверием и, конечно же, поверить во все то, что он пытался им объяснить:

– Вот вы, Мандрова, пытаетесь меня упрекать в том, что я нарушил то, что вы запланировали на сегодняшний вечер, на сегодняшнюю репетицию... Но на самом деле вы совсем не правы, и это неправильно говорить так, как вы сейчас говорите!.. Я даже более могу сказать: я полностью с вами согласен!.. В том смысле, что мне тоже совершенно непонятны все эти идеи Николая Ивановича... Простите... – тут он посмотрел в сторону Господина Радио, который, впрочем, в эту минуту совсем на него не обращал внимания и сидел, кажется, даже как-то понуро, склонив голову вниз. Но Томмазо Кампанелла, извинившись, приложил руку к сердцу и как-то даже низко поклонился Господину Радио, который, повторяем, всего этого совершенно не замечал. – Простите, я буду называть вас именно так, как вы хотите, – Господин Радио...

– Да, правильно!.. – это уже учитель Воркута. – Ведь мы же называем вас так, как вы хотите, – Томмазо Кампанелла!.. Будьте добры уважать и остальные условности нашего самодеятельного театра!..

– Да, простите... – еще раз повторился человек, завернутый в портьеру, впрочем, уже более сухо. – Идеи Господина Радио мне совершенно не по нутру. В том смысле, что я никак не могу понять, что он имеет в виду, когда говорит, что всем нам надо становиться голливудскими артистами, и упоминает какого-то тупого и несчастного зрителя, который просто сидит и кушает свой «поп-корн»... Вроде как этот зритель и есть самая главная в мире жертва и самый несчастный на свете человек...

Не успел он проговорить это, как Господин Радио перебил его и пылко произнес:

– Томмазо Кампанелла!.. Уж от кого-кого, а от вас я не ожидал такого непонимания и такой... простите за такое грубое слово, но иначе я сказать не могу: такой глупости... Ведь

вы со своими постоянными депрессиями как раз-то и должны первый стремиться к тому, чтобы плавно переместиться из этого Лефортово в мир ярких профессий!.. А вы этого не понимаете!..

Господин Радио умолк и повернулся к артистам любительского театра «Хорин» спиной, пытаясь смотреть на носки своих ботинок, поблескивавших в электрическом свете, потом глубоко вздохнул... Выглядело это так, будто хориновцы враз совершенно перестали его интересовать. Но они, видимо, уже привыкли к таким манерам своего режиссера, – а Господин Радио – как он сам попросил всех называть его – давно уже был в «Хорине» если и не действительно режиссером, то кем-то вроде режиссера, и разгоревшаяся дискуссия имела все шансы продолжиться...

Но только какое-то мгновение ему удалось подуться, потому что уже уходили курсант и его тетушка...

– Нет!.. Я вас не отпускаю!.. – вскричал Господин Радио, вскакивая со своего места. – Сейчас такой момент, что совершенно не известно: может минут через пять мне позвонят и окажется, что можно возвращаться обратно... – тут Господин Радио на мгновение замолчал, а потом произнес, чрезвычайно гордясь тем, что говорил, и торжественно:

– ...Возвращаться в уже оформленный зал театра «Хорин»!.. Нового, обновленного театра «Хорин»!..

Курсант уже, кажется, начинал нервничать, потому что спешил возвратиться в свою казарму без горячей воды и, кажется, уже был готов ответить Господину Радио что-то раздраженное, что, впрочем, было бы совершенно не свойственно его восторженному и мягкому характеру, но его перебила его тетя:

– Ничего-ничего... Мы по дороге зайдём и посмотрим – готово или не готово... Можно возвращаться или нельзя... Если можно, то мы там и останемся... И как-то дадим вам знать, – проговорила она примирительно, сама потихонечку двигаясь к двери классной комнаты.

– Не надо мне ничего давать знать!.. – раздраженно проговорил Господин Радио. – Я обладаю всеми средствами необходимой радио- и телефонной связи и все время держу руку на пульсе событий... У меня прямой канал связи с залом «Хорина» и художником по декорациям Фомой Фомичевым!.. Так что лучше бы вы дали мне знать, как можно бы мне вас найти если что?..

– Да как же нас найдешь... Нас не найдешь... Мы на сегодня репетицию закончили!.. Мы пойдем на улицу!.. – пыталась увещевать Господина Радио тетя курсанта, но в этот момент произошла одна сценка, и хориновцы отвлеклись на нее, что позволило этим двоим благополучно выскользнуть из двери классной комнаты, хотя им и очень, с одной стороны, хотелось посмотреть, что же будет, а с другой стороны, было как-то немного не по себе и даже, напротив, и не хотелось оставаться, особенно курсанту, хотя он и не мог четко осмыслить, в чем же тут для него может таиться опасность, но тем не менее... Потому что в классную комнату как раз в этот момент вошли два милиционера... И практически в ту же секунду у Господина Радио зазвонил на поясе мобильный телефон... Его фраза о том, что он постоянно держит руку на пульсе событий, таким образом, подтвердилась...

Глава II

Сквозь Север мгlistый

Темно. В салоне автомобиля уютно светились разноцветные огоньки, за «бортом» – лютый мороз, пустынные, плохо освещенные улицы. Тетушка рассказывала своему племяннику, побывавшему в этот день в «Хорине» в первый раз, и его другу, захавшему за ним на старенькой автомашине, историю этого самодеятельного театра:

– В «Хорине» был другой – настоящий, профессиональный режиссер. Точнее говоря, «была», потому что режиссером до последнего времени работала старуха по фамилии Юнникова. Она занималась этим по призванию, а не только за зарплату от муниципалитета. Между прочим, она именно сейчас лежит где-то здесь рядом в больнице при смерти... Это действительно рядом – здесь, в Лефортово... Я знаю эту больницу!.. Знаю улицу, на которой она находится... Достаточно кислые, неуютные места, да и больница – так себе... Сами знаете, какие у нас больницы «для всех»... Вонь, теснота, обшарпанные коридоры... Бедная Юнникова, какой печальный финал при ее-то, в общем-то, достаточно яркой профессии!.. Старухе сейчас восемьдесят три года... О!.. Она настоящий режиссер – милостью божьей!.. С театром связана всю жизнь: после театрального училища долго работала в московском драмтеатре имени Пушкина. Всех, кого ты, дорогой племянничек, сейчас видел в классной комнате на третьем этаже школы двенадцать ноль три, она принимала в «Хорин» лично. Устраивала прослушивания, расспрашивала о взглядах на искусство, о личных творческих планах... Пожалуй, только кроме одного единственного человека... Угадайте, кого?

– Томмазо Кампанелла!..

– Точно!.. За исключением одного только Томмазо Кампанелла – того самого, что читал только что, стоя на табуретке, свою «исповедь»...

– Какое странное имя!.. – проговорил водитель машины и даже на какое-то мгновение отвлекся от скользкой зимней дороги и повернулся к своим пассажирам – тетушке, ходившей в «Хорин» уже давно и потому считавшей себя знатоком всего того, что происходило в самодеятельном театре, и курсанту военного училища – приятелю водителя, за которым, собственно говоря, он и заехал этим вечером, чтобы по пути к своему дому завезти того в казарму. – Никогда раньше не слышал такого странного имени!..

– Да в этом самодеятельном театре у всех такие странные имена, не имена, а клички рецидивистов, – сам черт ногу сломит!.. – проговорил курсант.

– Хотя... Клички рецидивистов... Нет, ты не подумай чего такого!.. Они вроде бы все законопослушные... Вроде бы... – с определенным сомнением в голосе добавил он.

Они уже достаточно долго крутились по темным, завьюженным улицам. В машине было тепло. Тетушка продолжала свой рассказ:

– Совсем недавно театр «Хорин» получил новое помещение... Тоже достаточно запутанная и непонятная история... «Хорину» было велено перебраться в какой-то бывший «красный уголок» при жилконторе, в котором до него в гордом одиночестве располагался один очень странный проект – «Музей умершей молодости состарившейся и умершей молодежи прежних лет»... Бывший «красный уголок» числится на балансе районной управы, и его все время предоставляют для каких-то странных современных культурных проектов... То одного, то другого... Кстати, проект с этим непонятным музеем в настоящее время, по моему, уже окончательно заглох... Нет, экспозиция осталась, по крайней мере какие-то ее части, но люди, которые все это дело затевали, по моему, давно потеряли к нему интерес, и музеем уже никто не занимается... Так валяются какие-то, с позволения сказать, экспонаты, пока не пришел какой-нибудь очередной молодой гений и не уговорил управу отдать фактически брошенное помещение под его проект... Впрочем, нет, сейчас – не брошен-

ное... Сейчас там – «Хорин»... Я точно не знаю, но то ли Томмазо Кампанелла постоянно околачивался в этом музее, то ли он чуть ли не одновременно с хориновцами пришел в этот музей, а в «Хорин» попал уже заодно, то ли он вообще работал в этом музее сторожем, то ли он оформлял какую-то экспозицию, посвященную Лефортово, в этом музее (да, кажется, именно так оно и было – он в этот момент оформлял экспозицию, посвященную антуражам Лефортово), да только пути его и «Хорина» пересеклись... Причем пересеклись уже после того, как «Хорин» в одночасье, после какой-то непонятной истории, о которой я расскажу вам позже, осиротел, остался без Юнниковой, и тут, как по волшебству, в нем появился этот самый Томмазо Кампанелла... Его никто не принимал, никто не приглашал, он появился сам по себе и сразу приехал к месту, можно сказать, сразу оказался чуть ли не в самом центре внимания, потому что события в «Хорине» стали развиваться совсем не так, как это было при Юнниковой... – тетушка на мгновение замолчала, чтобы перевести дух...

– Смотрите!.. Смотрите, какой мрачный дом!.. – вскричал вдруг курсант.

Прозвучало это так неожиданно, что водитель вздрогнул и сделал заметный вилок рулем, – машина чуть было не пошла на скользкой и узкой улице юзом...

– Ну вас к черту!.. – раздраженно проговорил водитель. – Мы, кажется, заблудились!.. Ну точно!.. Вот этот перекресток мы уже проезжали!..

– И не один раз!.. – подтвердила тетушка.

– Надо же было заблудиться!.. Ужасно хочу есть!.. – проговорил друг курсанта, сидевший за рулем автомобильчика, на этот раз не столь раздраженно.

– Я что-то тоже очень проголодался... – а это курсант.

– Да уж... И я что-то голодна. А теперь мы уж третий круг делаем! – сказала тетушка.

Всем троим ужасно хотелось есть и не менее сильно хотелось спать. Но ни одно из этих желаний пока не могло быть удовлетворено. Конечно, они могли купить в каком-нибудь киоске каких-нибудь пирожков, остановиться где-нибудь у обочины и съесть их. А потом – почему бы и нет?! – они бы могли отоспаться в этой машине, как в маленьком домике на колесах... Могли бы... Но, конечно, пока еще такая абсурдная идея не приходила им в голову, потому что это было только начало сегодняшнего вечера и еще рано было браться за воплощение абсурдных идей... Воплощение абсурдных идей должно было начаться немного позже!

– Зря вы меня обвиняете в том, что мы по третьему разу проезжаем один и тот же перекресток!.. Я вообще не москвич... И сегодня, между прочим, только первый раз за рулем!.. Третье я водил, конечно, раньше, но там, у нас... А там у нас и улицы не такие запутанные, и движение не такое... А тут – туда не поверни, здесь не развернись, там – только прямо!..

Да, тетушка, вы знаете, что Вася приехал в Москву из Сыктывкара... У него здесь тоже тетя... Правда, она живет не в Москве, а в Купавне, но это неважно!.. Зато она отдала ему эту машину!.. Конечно, машинюшка довольно старенькая, но все еще на ходу... И корпус не очень ржавый...

Что это еще за Сыктывкар такой?!.. – с недоверием проговорила тетушка – самодеятельный артист.

– Послушайте, поедemте тогда в самый центр, на Красную площадь!.. – предложил Вася, никак не откликнувшись на вопрос о Сыктывкаре.

– Туда машины не пускают... – проговорил курсант.

– Ну неважно!.. Значит к... Красной площади!.. Я знаю, как добраться вот от этого места к Красной площади, и знаю,

как добраться от Красной площади до твоей казармы... Иначе мы проплутаем всю ночь!.. Как добраться от этого места до твоей казармы я не знаю!..

– Ладно!.. Поехали на Красную площадь!.. А дорогой тетушка расскажет нам про этот странный самодеятельный театр и про его не менее странных участников и героев...

– О!.. Обожаю про странных участников и героев!.. Боюсь, что эта тема меня так взволнует, что мы вообще проедем мимо Красной площади куда-нибудь не туда... Хорошо еще, что в машине тепло, а то бы в такую погоду нам эти плутания могли стоить обмороженных ушей, щек или пальцев, – у кого нет теплых варежек!.. Ну что же вы, тетушка, не продолжаете?! Я прибавляю газу, хоть по такой скользкой дороге это и не совсем безопасно, и мы едем на Красную площадь!

Он действительно немного сильнее нажал на педаль газа, но тут же и отпустил ее.

– Ладно, продолжаю-продолжаю... Покуда старуха Юнникова была здорова и хориновцы не были предоставлены сами себе, «Хорин» не был никаким театром, а оставался любительским «Хором, исполняющим песни на иностранных языках», – отсюда и название-сокращение – «Хорин». Но вот старуху Юнникову разбил, как я слышала, чуть ли не прямо на репетиции приступ какой-то сердечной болезни... Впрочем, может, и не на репетиции, я точно не знаю, меня в этот момент не было рядом, я знаю только с чужих слов... Она долго пыталась выкарабкаться, а теперь – умирает в больнице, расположенной здесь же, в Лефортово, а среди хориновцев выделилась не такая уж и маленькая группка людей, в основном тех, кто был принят в хор Юнниковой в последний период, когда она уже плохо себя чувствовала и не могла столь же активно, как и в былые времена, пропагандировать среди своих питомцев пение на иностранных языках, – она, эта группа, решила, что можно найти занятие и поинтересней, чем просто петь... Идея преобразовать хор в театр с таким же названием, пришла в голову Господину Радио. Он и заразил ею многих хориновцев. Естественно, когда он взял на себя роль режиссера, то никто особенно и не возражал. Впрочем, лидерство его не было полным и отчетливым, поскольку он был, скорее, режиссером-председателем, а основная же режиссура осуществлялась всем коллективом «Хорина» на принципах демократии.

То есть каждый из хориновцев («новохориновцев», как они еще иногда стали себя называть в отличие от тех, кто остался верен старухе Юнниковой и перестал теперь посещать репетиции вовсе) предлагал свои идеи к всеобщему рассмотрению, а уже общество решало, стоит или не стоит применять их в спектакле, который они готовили. Однако правда и то, что почти никто не предлагал никаких более-менее внятных идей, а помимо Господина Радио в лидеры выбился еще Томмазо Кампанелла – он-то как раз предлагал идей много и преинтереснейших, но ходил на собрания любительского театра нерегулярно, мог появиться вообще выпивши, а потому безусловной конкуренции Господину Радио составить не мог.

Эту вроде бы «галиматью», этот проект немного сложно понять... Но ведь сейчас не советское время, и каждый может делать все, что хочет, даже если это и полная глупость, и никогда не приведет ни к какому хорошему практическому результату... В общем, «новохориновцы» собирались по вечерам, галдели, предлагали каждый свои безумные проекты, пытались сообща сочинять какую-то, конечно же, «гениальную» пьесу, ссорились, слушались и не слушались Господина Радио, оригинальничали, выпендривались, даже писали какие-то предложения официальным властям...

Так называемый «спектакль», «пьеса», которую «новохориновцы» готовили и о которой все время рассуждали, была при всем при том лишь набором каких-то плохо связанных друг с другом этюдов, зарисовок, монологов и диалогов, идей, намечаемых сюжетных ходов, предполагаемых (впрочем, только вчерне) эпизодов, которые и показать-то никому было никак нельзя. И хотя они говорили, что пьеса «вот-вот будет закончена, остались недопридуманными лишь самые малости, осталось лишь подшлифовать, состыковать отдельные ее акты воедино», но на самом деле вряд ли, несмотря на множество черновиков, репетиций и предложенных идей, они хоть сколько-нибудь продвинулись вперед, и действительно законченным в пьесе можно было считать лишь название: «Сквозь Север мгlistый...». В том смысле, что все остальное, помимо заголовка, постоянно менялось, переписывалось, пере-

черкивалось, создавалось заново, но уже совершенно в противоположном ключе, а название оставалось неизменным.

«Сквозь Север мгlistый...» было частью первой строки стихотворения, которое, так же безнадежно и бесконечно, как хориновцы готовили премьеру своей пьесы, сочинял Томмазо Кампанелла – тот, кто читал монолог-исповедь. Первая строка этого стихотворения звучала так:

«Мое сознание, искрясь, сквозь Север мгlistый прорастает...»

– Как эта строчка подходит к сегодняшнему вечеру!.. Действительно ведь, посмотрите какая за окнами нашего автомобиля северная мгла, какая за окнами нашего автомобиля северная стужа... Только вот не могу понять, куда при этом прорастает наше сознание!.. – проговорил водитель автомобиля.

Перед носом автомашины бесконечной лентой вились зимние московские улицы.

Глава III

«Этот край назовем мы тюрьмой...»

На мгновение заглянем в прошлое и познакомимся с тем, что предшествовало репетиции в школьном классе...

Черной бесконечной ночью, минуя погруженные во тьму северные полустанки, из края Полярных морей в сторону Москвы бежал по рельсам закоптелый пассажирский поезд... В одном из грязных, душных купе шла ожесточенная «рубка» в карты.

Играли трое: два матроса и немолодой мужчина с грубыми чертами лица... Играли очень азартно и с исступлением, впрочем, двое матросов то и дело переглядывались друг с другом, а мужчина больше смотрел себе в карты, что, впрочем, ни в коей мере не могло свидетельствовать о том, что игра велась нечестно, потому что оба матроса были настоящими, только что ушедшими в отпуск матросами, да и игра велась, кажется, не на деньги...

«Один из них утоп, ему купили гроб...» – напевал себе под нос тот из матросов, что был длиннющего роста, как пожарная каланча.

Помимо длинного роста, его отличал еще длинный крупный нос и под носом – пшеничные усы... Немолодой мужчина с грубыми чертами лица тоже носил усы, которые у него были такого же, как и у матроса, пшеничного цвета. Нос у немолодого мужчины был широкий и красный – видимо, он увлекался водкой и другими напитками того же свойства. Кстати, на столе была только что раскупоренная бутылка «Русской» (вторая, точно такая же, но уже опорожненная стояла под столиком и со стеклянным дребезгом ударялась боком об металлический кожух расположенного там же обогревателя). В один из моментов, игроки разлили содержимое откупоренной бутылки по чайным стаканам, вставленным в грубые алюминиевые подстаканники, и махом выпили. На закуску у них шли какие-то рыбные консервы и хлеб...

Локомотив поезда хрипло гудел, проезжая по редким безлюдным северным переездам...

Отправив в рот по консервированной рыбешке и зажевав ее куском черствевшего серого хлеба, матросы закурили недорогие сигаретки... Красноносый с пшеничными усами не курил.

– Значит, Таборский, к тетке едешь?.. – спросил его длинный матрос.

– Ну, не к тетке... Она была лучшей подругой матери... Мать молодой умерла... Да тетке уже, наверное, сто лет!..

– Так уж и сто?.. – недоверчиво спросил длинный матрос. Что, Сеня, что ты пристал к попутчику со своими дурацкими расспросами?!.. – перебил длинного матроса другой, темноволосый и коренастый. – Мало того, что человек поделился с тобой напитком, так ты еще и допрашиваешь его, хуже прокурора!..

– Да нет, почему, я расскажу!.. – как-то очень беззащитно заулыбался, произнося эти слова, Таборский.

– Я – сирота... Отец, военный переводчик, погиб в Венгрии в пятьдесят шестом, мать – актриса драмтеатра имени Пушкина попала молодой под машину...

– О!.. Какое совпадение судеб!.. – кажется, даже обрадовался длинный матрос. – Я ведь – тоже сирота... А вот од (матрос показал на своего темноволосого товарища) – безотцовщина... Говоришь, мать попала под машину?..

– Смертельная травма – умерла не приходя в сознание... Анекдот!.. Просто обхохочешься!.. – с улыбкой ответил Таборский. – Был еще водитель той машины... Но это... Ну, в общем... Воспитала меня ее старшая театральная подруга, правда, она не актриса – режиссерша...

– Как фамилия?.. – поинтересовался длинный матрос. – А что?!.. Приедем в Москву, пойдем на ее спектакль... Буфет, девушки, шампанское... Театр, одним словом!.. Так как ее?..

– Юнникова... Да ей уже сто лет, и она спектаклей давно не ставит... У нее сейчас хор... Руководит районной самодеятельностью...

– О!.. Мы тоже участники флотской самодеятельности!.. Поем и играем: гитара, балалайка, гармонь... Да, Юнникова!.. Кажется, что-то слышал!.. Да нет, не кажется – точно слышал!.. Слушай, она в Мурманске в фестивале «Поют подводники» не участвовала?! Я там главный приз на дополнительном конкурсе ложкарей взял... – проговорил матрос с темными волосами.

– Да нет, она вообще на Севере ни разу не была... – еще шире улыбаясь, ответил немолодой мужчина с грубыми чертами лица.

– А сам-то ты наш, с Севера?.. – спросил длинный матрос. – Я имею в виду, на Севере давно живешь или так, был в краткосрочной командировке?..

– Я?.. Нет... Давно живу... Считаю, что давным-давно завербовался... Я северянин со стажем!.. – ответил Таборский.

– Со флотом связан?.. – как-то приосанился длинный матрос. – Случаем, не бывший подводник?..

– Не-е... Я – директор театра...

– А-а, понимаю-понимаю... Береговая служба! – тут же проговорил длинный матрос. – Продажа билетов, организация гастролей, ремонт сцены... Одним словом, скрытый ото всех подводный мир, но только театра!.. Я сразу так и понял, что ты тоже, в некотором роде, наш – подводник!.. Шутка!.. Юмор сумеречных морских глубин!..

Все трое засмеялись... Потом наступила некоторая пауза... Вдруг длинный матрос встрепенулся:

– Задрай-ка ты, что ли, этот лючок!.. А то дует!.. А я уже три дня простуженный... – сказал он темноволосому, что сидел ближе к окну.

Тот опустил на и без того закрытое оконце плотную кулиску из кожзаменителя. Теперь купе казалось совершенно отрезанным от внешнего мира. Клубы сигаретного дыма поднимались к потолку и медленно вились вокруг плафона освещения. Таборский закашлялся...

Нисколько не обращая на него внимания, длинный матрос довольно проговорил:

– Вот!.. Теперь как в подводной лодке!.. Обожаю замкнутые пространства!.. Вообще, я – уникальный человек. Прирожденный подводник!.. Меня природа создала специально для подводной лодки...

– Хе!.. – крикнул темноволосый матрос, поражаясь красноречию друга. – Удивляюсь я, Арсений Семенович, как бы это сказать поделикатнее, вашему... красноречию!.. Костей в вашем языке рентген бы явно не обнаружил...

– Нет, серьезно! – продолжал его товарищ. – Вы посудите сами: у меня болезнь – боязнь замкнутых пространств наоборот... То есть я не люблю ничего просторного и гулко-го, такого, чтоб ветер мог гулять, чтоб пространства было много... Мне от просторного и гулко-го становится как-то невыносимо ужасно на душе, так что постоянно хочется, пардон, напиться в стельку... Нет, я, конечно, так никогда не делаю и вообще, блюду самую что ни на есть флотскую дисциплину... В общем, не люблю я просторов... Наоборот, люблю все тесненькое и уютное... Театры, между прочим, товарищ директор театра, – специально подчеркнул длинный матрос, – тоже люблю маленькие и тесные... Мне в них как-то приятнее наслаждаться, так сказать, игрой актеров... Люблю сумрак, толщу вод и поднимающиеся со дна водоросли...

– А я люблю простор, свободу... – беззащитно улыбаясь проговорил Таборский. – Поле люблю представить и скачущий по нему табун лошадей. Мне вот нравится у Шукшина: «И

разыгрались же кони в поле...» Это рассказ, а название – строка из Есенина... Я в детстве часто в один пионерлагерь ездил... В Ростовской области... Там степи... Нравилось мне там очень... Ширь, простор, свобода, солнце!.. Романтика!..

– Друг, зачем тебе эта свобода?! И какие на нашем Севере поля с конями?! Конина, тонко порезанная, засушенная, по-татарски – это другое дело!.. Это бы я с удовольствием взял бы в подводный поход!.. Нет, ты не подумай, что я такой бесчувственный жлоб, я – тоже романтик... Но у нас другая романтика: представь, толща вод, шевелящиеся, поднимающиеся со дна водоросли, сумрак, тишина... Могила!.. Водная могила!.. И мы – вечно живые...

– Верно!.. Верно, Сеня!.. – вдруг встрепенулся темноволосый матрос.

Он сильно потер лицо и глаза ладонью так, словно боялся уснуть. И потом, уже обращаясь к мужчине с грубым лицом:

– Друг, мы тоже ужасные романтики!.. Но нам в нашей службе надо иметь железные нервы, терпение и гордость... «Во глубине полярных вод храните гордое терпенье...»

– Это написал он и Пушкин! – заржал длинный матрос с пшеничными усами.

И потом, перебивая товарища, продолжил за него:

– Представь, совсем недавно наша лодка благополучно возвратилась из похода и, так сказать, вынырнув из толщи вод, пришвартовалась к причалу... Мы вышли на него в черных бушлатах и, сперва взяв паузу и немного передохнув в кругу друзей, потом, держа в руках маленькие чемоданчики с нехитрыми пожитками, добрались на разваливающемся и неудобном маленьком флотском автобусе до вокзала... Я не слишком поэтически выражаюсь?!..

– Нет-нет... Что ты!.. Выражайся!.. – с усмешкой проговорил немолодой попутчик.

– Нет, я могу и попроще... Ну да зачем – здесь собрались люди образованные... Итак, на маленьком северном вокзале, расположенном далеко за Полярным кругом, вдоль серого и унылого перрона уже стоял наш поезд. Поезд с Севера в Москву!.. В Москву!.. В столицу нашей необъятной Родины!.. Купе поезда (я извиняюсь за невольное поэтическое сравнение) – как отсеки, стенки – как переборки... Поезд с Севера, из края Полярных морей сам – как подводная лодка. Край северных рек, через который он мчится в столицу, – леса, лесопилки, реки, по которым сплавляют бревна, редкие селения и лагеря для воров, лагеря, лагеря!.. А чуть севернее – тундра с оленями, чукчи и отбывающие свои сроки воры – воры, колючая проволока, тюрьмы... Это даже не жизнь, и никак не свобода, это не край, а – дно морское... Но, как говорил поэт, «если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно!»... Сумрак, расплющивающее давление, тишина глубоководной могилы... И водоросли поднимаются вверх и шевелятся, как волосы утонувших матросов с погибшей подводной лодки... Значит, этот край нужен Родине именно таким, какой он есть!.. В конце концов, нужно же куда-то сажать воров!.. Ты знаешь, друг, что говорили про этот край до революции?.. «Этот край назовем мы тюрьмой...» Сюда ссылали революционеров. Отсюда – не убежишь!.. Так что, как не крути, а наш сухопутный дом – почти что тюрьма. А служба – спускаться в могилу. В водную могилу... Но мы и дом, и такую жизнь, и службу все равно любим беззаветно... Вот такой принцип!.. Потому как других нам не дано... А свобода... Осознанная необходимость – вот что такое наша свобода. Мы – люди служивые, военные... Нам, если хочешь знать... Мы от многого такого, что только на этой твоей свободе, на большой земле только и увидишь, – не в восторге!.. Это я тебе говорю!.. А я кое-чего в жизни повидал... И многому цену знаю. Не то, что этот салага...

И он кивнул в сторону темноволосого товарища.

– Так что же вы в Москву-то едете?.. В Москве-то посвободнее будет, чем у нас там... Чем под водой в подводной лодке... – по-прежнему улыбаясь спросил Таборский. Было непохоже, чтоб водка хоть немного на него подействовала – по крайней мере внешне он оставался совершенно трезвым. Скорее всего, он был очень силен пить. – В Москве – свобода!.. А вы ее, как говорите, не любите!..

– Ха!.. Нам нужен яркий свет... Глаза требуют видеть свет... А легкие – дышать кислородом!.. Тот же самый театр нужен!.. Эмоции!.. А потом, это ты сильно заблуждаешься, если думаешь, что в Москве – свобода... В Москве – Кремль, Мавзолей Ленина – это точно есть... Правительство работает... А свобода... Не знаем... Давно не бывали... – закончил с кривой усмешкой длинный матрос.

– Это точно!.. – подтвердил темноволосый. – В Москве мы не бывали давно!.. Я так, например, вообще не был ни разу!.. Ха!..

И он громко и задорно засмеялся. Чувствовалось, что из всех троих, сильнее всего водка ударила именно ему в голову...

– Мы знаем одно – в Москве для нас перемена ощущений будет очень яркая... – произнося эти слова, темноволосый матрос очень оживился, и как-то сразу стало заметно для его немолодого собеседника, какой он на самом деле еще молодой, увлекающийся и действительно не растерявший романтического запала, в сущности мальчишка...

Темноволосый матрос тем временем продолжал:

– Я это воображаю себе так...

– Воображает он, салага!.. – заметил его длинный товарищ. – Что ты там можешь вообразать?! Ты же ничего не видел!.. Нет, вру, видел... Видел пыльную улицу между покосившихся заборов в родном Котласе... Это ты знаешь где... – пояснил он для попутчика. – ... Тоже у нас, на Севере. Он оттуда родом, оттуда и на флот призвался...

– Подожди, дай сказать... Я воображаю это так... – темноволосый матрос еще больше преобразился и сильнее стал похож на совсем молоденького, неопытного мальчишку и уж никак не на бывалого морского волка...

Он продолжал:

– Только что была сумеречная толща вод, водоросли, шевелящиеся, как волосы утопленников, подогретые мясные консервы из банки, сладкий чаек и сразу – театральная премьера, хрустальные люстры, музыка, шампанское!.. Тропические фрукты!.. Что же ты думаешь, мы, матросы Северного флота, в такой ситуации будем глухи к искусству?! Нет, мы, матросы не глухи к искусству!.. С удовольствием походим по московским театрам... Но только выходить на улицу и на люди станем исключительно вечером, когда и в Москве наступит северный мрак...

– Потому что дневной свет для нас слишком ярк... Мы же привыкли к полярной ночи... А днем будем отсыпаться... Ха-ха!.. – продолжил за него длинный матрос.

– Вот и я так же, – проговорил Таборский.

– Это он шутит, не слушай! – перебил темноволосый матрос. – Просто гулять по Москве днем у нас не будет времени!.. К тому же, мне кажется, что в Москве ночью должно быть совсем не так, как в том городке, из которого мы едем... И даже не так, как в Котласе... В Москве фонари, витрины, море огней!.. Но главное – днем у нас просто не будет времени!..

– Днем мы станем репетировать наш коронный номер – «Гимн утопленников»... Песня в сопровождении стука по переборкам и медленного, плавно замирающего танца... – опять мрачно пошутил длинный матрос. И напел:

«Один из них утоп, ему купили гроб...»

– Ладно, это тоже дурацкая и грубая шутка... Не слушай его!.. Он иногда так мрачно шутит... Но он в душе не такой!.. – проговорил темноволосый матрос, обращаясь к случайному попутчику. – Скажем тебе честно, чтобы не морочить голову... – уже более просто, торопясь, словно бы боясь не успеть рассказать всей истории, продолжил темноволосый. – Мы едем самую малость на отдых, в отпуск – воспользоваться, так сказать, всеми преимуществами яркого столичного города, каким, безусловно, является Москва – столица нашей Родины, а большей частью – и это главное, на конкурс военной песни... Мы же тебе сказали

– мы участники самодеятельности... И как участникам самодеятельности нам дали очень краткосрочные отпуска...

– Вот только забыли снабдить всем необходимым для отпуска... Деньгами, например... Ха-ха!.. В достаточном количестве... – в который раз уже перебил его длинный товарищ. – Но нам даже на это совсем не обидно... А обидно нам, конечно, большей частью за Державу... За что же еще нам обижаться!..

И длинный матрос опять запел:

«Один из них утоп, ему купили гроб...»

В стук колес и хриплых гудках локомотива поезд мчался в Москву. Мимо проплывали сторожевые вышки лагерей и сонные северные поселки... После описанного разговора в купе с прежней яростной силой возобновилась игра в «двадцать одно»...

– Еще!.. Себе!.. Очко!.. Пас!.. – пока еще не очень громко доносилось из-за наглухо закрытой двери.

Меж тем в коридоре поезда уже приглушили свет. Большинство пассажиров давным-давно успели лечь на полки и заснуть, насколько это было возможно в трясущемся и расхристанном, давно требовавшем ремонта вагоне. Но в купе, где ехали трое, действие никак не хотело прекращаться...

Через какое-то время проводница, сквозь сон, успела через приоткрытую дверь заметить, как один из игроков в карты, пошатываясь и зажав в руке мятый сторублевый билетик, направился куда-то по коридору, явно за водкой, – то ли в ресторан, то ли... Потом еще... Потом другой игрок в карты ходил за водкой... А вскоре шум и крики из этого купе стали разноситься по всему вагону без всякого стеснения. Безобразие-таки началось!..

Не дожидаясь, пока к ней придут жаловаться возмущенные пассажиры сперва соседних, а потом и не только соседних купе, проводница встала с полки, оделась и направилась к той двери, из-за которой всю раздавался шум.

Подойдя к двери, она остановилась и стала слушать, что же все-таки кричат внутри, пытаюсь таким образом понять, что же там происходит и не слишком ли опасно ей одной усмирять хулиганов, – не стоит ли запросить подмогу в соседнем вагоне, а то и у бригадира проводников, ехавшего в пятом, штабном?..

Некий человек, по голосу вовсе и не показавшийся проводнице пьяным, или уж по крайней мере показавшийся не столь безобразно пьяным, как это можно было вообразить поначалу, громко кричал внутри купе:

– Эх вы!.. Вроде и сироты, вроде и горя хлебнули!.. Да как же можно не понимать преимуществ свободы перед несвободой!.. Эх, матрос!.. Чем ты восхищаешься?! Лагерями, мраком, полярной ночью?! Если ты так уверен, что наш край – мрачная северная тюрьма, то... то... – говоривший явно захлебывался от душивших его чувств. – Как же ты можешь все это любить таким... тюремным?! Ты же сам говорил... Ты же сам видел: и мрак, и тюрьма, и ужас!.. Ты же видел, видел!..

– Что с тобой?! Тише ты!.. Э-э, Таборский, да не дергайся ты так, поранишься... Э, да подержать тебя что ли?! Не ровен час... Вот ведь, угощал-угощал... Что с тобой случилось?! Э-э, да ты, дядька, оказывается, ужасно нервный. К тому же пить тебе по многу не надо!.. Эх ты разошелся... – тот, что отвечал, был явно в гораздо более миролюбивом и благодушном настроении, чем тот, первый, и это немного успокоило проводницу (появилась надежда, что до драки все-таки не дойдет). Впрочем, в голосе человека звучала сильная озабоченность, что свидетельствовало о том, что происходило что-то весьма серьезное...

Он продолжал:

– Мы же тебе, Таборский, чин-чинарем рассказали, и нам казалось, что ты должен был понять, что мы есть никто другие, как ужасные романтики!.. Только романтика у нас своя,

особая, северная – мрачная романтика!.. Что же из-за нее тут ни с того ни с сего так орать?.. Романтика – не белена, чтоб ее так объесться!..

– Эх, матрос!.. Знал бы ты, какая плохая и мрачная вещь эта твоя мрачная северная романтика!.. Как сил у меня от нее нет, как весь я задушен и загублен!.. Ведь я – труп уже, труп!.. Вся душа уже съежилась и умерла... Ты же видел, видел: этот край – и мрак, и ужас, и тюрьма!.. Кругом!.. Душа съежилась и умерла!.. – казалось, он, этот говоривший, плачет уже, по крайней мере в голосе его явственно дрожало отчаянное, обреченное рыдание. И вдруг со страшной силой, непобежденно, словно яростно сопротивляясь чему-то, словно отталкивая в ужасном порыве тянущуюся к его сердцу черную костлявую руку, он воскликнул:

– Не-ет!.. Нет!.. Не умерла еще моя душа, не умерла!.. Я не умер душой!.. Не верю, что умер!.. Кабы умер – как бы я мог сейчас в этом поезде ехать!.. Разве мертвецы в поездах могут ездить?!.. Разве мертвецы в поездах «Русскую» с матросами распивают?!.. Не-ет, душа моя не умерла!.. Как же я мог отчаяться и подумать, что душа моя умерла!.. Какой же я ужасный дурак после этого!.. Как же я мог так подумать?!. Как я, Таборский, мог так подумать?!

– Эй, вы там, потише не можете!.. – забарабанила проводница по двери купе. – Расшумелись!.. Отдохнуть не дадут, буяны чертовы!.. И что же это за пассажиры такие!.. Пока до Москвы доедут, все нервы измотают... Пьяницы проклятые!..

Постучав таким образом, она подбоченилась и стала ждать, – не произойдет ли теперь чего, успокоятся в купе или нет; испугаются ли ее грозного крика?..

Не, скорее всего, те, что были в купе, крика не расслышали, а на стук не обратили внимания:

– Не-ет, я еще жив!.. И я еду в Москву! – продолжал тот, что только что был готов рыдать. Казалось, он воспрял духом:

– Я еду в Москву! Мне хочется туда, домой, где я родился и вырос, где широкие улицы и фонари, рекламы и театры... Где театр имени Пушкина, в котором работала моя покойная мать... Мне хочется бульваров и площадей, метро!.. Мне хочется большой и полной, счастливой и радостной, как весеннее утро детства, свободы!..

– Свободы?!.. – кажется, как-то очень устало и с какой-то очень большой укоризной переспросил собеседник Таборского. И тут же добавил:

– Свобода есть осознанная необходимость!.. И больше ничего!.. А если домой, на Родину едешь, – то так и скажи... А романтика северная – это для матросского настроения штука очень важная!..

– Постой... – вступил в разговор третий человек, ехавший в этом купе. Голос его звучал совершенно трезво. – Он же сам сказал: он северянин со стажем... Получается – дом-то у него на Севере!.. А в Москве – он тоже говорил – у него только тетка какая-то... Да и то – не родная она ему!.. Так ведь?!.. Так ведь, друг?!. Ты же так говорил!..

– Да, так!.. – ответил тот, к которому обращались. – Никого у меня теперь в Москве нет... И квартиры нет... Остановлюсь в гостинице!.. Даже не знаю еще сам в какой... Что, хороши теперь в Москве гостиницы?!.

– Да все от кармана зависит!.. – произнес по голосу более старший.

– Денег у меня – куры не клюют... Найду самую дешевую!.. – сказал Таборский.

Глава IV

Портрет Господина Истерики

Минуя перекресток за перекрестком, улицу за улицей, автомашина, в которой ехали друг курсанта, сам курсант и его тетушка, наконец-то доползла до самого центра Москвы, до Красной площади, – впрочем, не до самой, конечно, Красной площади, а до одной из площадей, соседствующих с ней.

Тут в моторе стало что-то стучать, греметь и через какой-нибудь десяток-другой метров старенькая автомашина начала чихать и глохнуть. Ее предусмотрительный водитель едва успел подрулить к обочине, как тотчас мотор заглох.

Некоторое время они пытались завести автомашину собственными силами, даже тетушка пыталась помогать, подавая ключи, – изрядно продрогли, а потом, посоветовавшись, решили не пытаться починить столь предательски сломавшийся автомобиль, а бросить его здесь. Вася собирался утром приехать к машине с каким-то приятелем, который разбирался в ремонте и мог помочь, – а сейчас всем троим хотелось только одного – поскорее выпить в какой-нибудь забегаловке горячего кофе...

Впрочем, подходящее место они нашли не сразу – им пришлось побродить по Красной площади и прилежавшим улочкам, прежде чем они едва ли не случайно заглянули в еще работавший, вопреки всем предположениям тетушки, огромный ГУМ и там, прямо недалеко от входа, нашли какое-то малюсенькое дешевое кафе...

Они тут же попытались заказать в кафе чего-нибудь существенного для себя: мяса, сыра, хлеба, какой-нибудь колбасы, но оказалось почему-то, что ничего сытного, «существенного» нет, – им не смогли предложить ничего, кроме пирожных и горячего кофе.

Пирожные же в этом в общем-то дешевом кафе были дорогие, и все трое в первый момент смутились, оттого что подумали, глядя на пирожные, что покупать их будет как-то очень неэкономно, а потому поначалу попросили себе только кофе – сладкого и со сливками. Сливки были импортные, в маленьких пластиковых «кружляшочках», и подавались за отдельную, хоть и сравнительно небольшую плату...

Перед глазами у них все еще стояла метель, стужа, Красная площадь, Кремлевские башни, укутанные снежной пеленой, высокие и зловещие...

– Какое здесь все-таки зловещее место!.. Мрачное!.. Темно-красное все кругом... Кровь... Ведь верно же: пролетарское красное знамя – это цвет крови погибших рабочих... А здесь все буро-красное... Цвета запекшейся крови!.. Лобное место – место, где казнили, где отрубали головы... Тоже связано с кровью... И эти буро-красные башни... Запекшаяся кровь!.. И это черное небо, и эта метель!.. – проговорил друг курсанта, отряхивая бисеринки растаявшего снега с воротника и меховой шапки. Потом он взял обеими руками чашку дымившегося кофе и сделал первый осторожный глоток. – Какой, однако, сегодня вечер выдался мрачно-романтический!.. И этот ваш, тетушка, рассказ про самодеятельный театр, в котором вы оба занимаетесь!.. Томмазо Кампанелла!.. Конечно, когда я говорил, что не слышал... Я знаю, кто такой был Томмазо Кампанелла – это итальянский мыслитель-социалист, автор учения о Городе Солнца... Раз ваш Томмазо Кампанелла взял себе имя того Томмазо Кампанелла, значит, он, некоторым образом, заявляет о себе: «Вот, мол, я какой – последователь учения о Городе Солнца»... Очень значащее имя... – проговорил друг курсанта.

– Да нет, ты слишком преувеличиваешь!.. – откликнулся курсант. – Это просто прозвище!.. Возможно, просто шутовское прозвище!.. Просто кличка!.. Там даже один человек, тоже хориновец, сказал, что у многих хориновцев клички, как у воров-рецидивистов, и что ему это очень не нравится!.. По-моему, я уже говорил... Этот Томмазо Кампанелла вообще очень странно говорил: «не приходите в себя... одуреть ... воздействие лихорадочным тем-

пом... настроение»... Я, честно говоря, так толком почти ничего и не понял... Это-то мне и не нравится!..

– Да вот и мне что-то не нравится все это!.. Не нравится мне этот ваш Томмазо Кампанелла!.. Мне кажется, что все это какое-то не твое, не наше, что ко всему этому мы с тобой, люди в некотором роде государственные, военные, не имеем никакого отношения... Мы-то с тобой – нормальные, здоровые люди... Хотя вот ты, видишь, стихи отчего-то начал писать, хоть и плохие!.. Знаешь, мне кажется, что все, что связано с этим самодеятельным театром, – это какая-то игра, глупая, опасная и рискованная, конечно, в смысле психологическом, в смысле напряжения для психики, начатая больше от нечего делать... Как и твои стихи!.. Какое-то не наше все это с тобой, дружище... Как будто нам что-то пытаются навязать, что нам, на самом деле, вовсе и не нужно... У меня вот, например, на сто процентов есть по поводу тебя такое ощущение... Что тебе что-то пытаются навязать... Ощущение плохое... И действительно тревожное... Тревожное, как мрачный, глупый сон, от которого хочется поскорее проснуться... И я могу вам объяснить, почему!.. Вот ты сейчас сказал про «не приходить в себя», про «воздействие лихорадочным темпом»... Дело в том, что вся эта история как-то удивительным образом накладывается на тот рассказ... На один рассказ, который я услышал совсем недавно, только вчера вечером от своей тетушки в Купавне...

– Ну-ка, ну-ка!.. Интересно-интересно!.. Ради такого случая, ради такого рассказа я даже готова угостить вас еще и пирожными с кремом!.. – проговорила тетушка, вставая из-за столика. Ее недорогая шубка из искусственного меха тоже поблескивала бисеринками растаявшего снега. – Хоть они и дорогие!.. Но все равно!.. У меня есть маленькая записка... Как раз собиралась побаловать чем-нибудь любимого племянника! Почему бы и не пирожными?!

– Да-да!.. Это было бы прекрасно!.. – воскликнул курсант. – Честно говоря, я теперь уже ужасно, просто нечеловечески проголодался. – Тетушка, мне вон ту корзиночку с розовым кремом и цукатами!..

Вернувшись к столику, неся в руках блюда с пирожными, тетушка проговорила, обращаясь к другу своего племянника:

– Послушай, Вася, а может быть, действительно лучше не надо всем нам ходить в этот «Хорин»?.. Ну мало ли чего?.. Как-то меня твои опасения взволновали!.. Как-то мне вот сейчас неожиданно показалось, что в них есть какой-то смысл... Правда, я больше чувствую его сердцем, чем могу объяснить умом... К тому же я вам еще не рассказала, но в последнее время в «Хорине» тоже затевается революция.

– Тетушка, ну перестаньте!.. – перебил ее курсант. – Вы же меня туда затащили, и вы же еще и трусите!.. Вася, давай про рассказ твоей тетушки!..

– Рассказ этот был спровоцирован моим интересом к одному портрету, который висит на стене в комнате моей тетушки сколько я себя помню (еще ребенком мать привозила меня к ней на каникулы из Сыктывкара). На портрете изображен вовсе не старый мужчина с волевым лицом и очень напряженным взглядом... Точно в этот момент изображенный на портрете человек испепелял кого-то взглядом – брови странно сведены, зрачки расширены... Этот портрет передала моей тете моя бабушка – пламенная революционерка, поклонявшаяся этому портрету точно бы иконе... Господин Истерика – вот кто изображен на этом портрете!..

Тетушка и курсант только и могли, что удивленно переглядываться между собой, настолько вся эта история с самого начала показалась им необычной: портрет, бабка – пламенная революционерка, поклонявшаяся какому-то Господину Истерика точно богу.

В какой-то момент они даже перестали есть свои пирожные (Вася пирожных вообще не ел, так как не любил сладкое). Итак, Вася продолжал:

– ...Слышали ли вы что-нибудь про загадочную историю Господина Истерики?.. Во время Октябрьской революции ему было около тридцати шести лет... Его историю рассказала мне вчера, точнее сегодня ночью, моя тетушка... Она узнала эту историю от своей матери – моей бабушки, той самой, которая поклонялась портрету... «Господин Истерики» было партийной и революционной кличкой этого человека. Смысл в эту кличку вкладывался примерно такой: у всех врагов революции и белогвардейцев начинается истерика, когда они чувствуют поблизости присутствие этого пламенного революционера... Кстати, последние часы жизни этого человека прошли в ночных антуражах одного провинциального городка на Севере России (сразу вспоминаю это ваше «Мое сознание, искрясь, сквозь Север мглистый прорастает...», «Из искры возгорится пламя...» и прочие революционные лозунги...). Задачей Господина Истерики (кстати, он был именно Господин Истерики, а не товарищ Истерики) было «полное и мгновенное (обратите внимание на это „мгновенное“, потому что это слово в нашей истории очень многое значит) переустройство жизни в губернии до достижения необходимого революционного настроения»...

– Прямо как в «Хорине» в последнее время! – воскликнула тетушка.

– Итак, Господину Истерики вроде бы полагалось вызывать истерику лишь у врагов, но на самом деле истерика в меньшей степени колотила постоянно и самого Господина Истерики... – продолжал Вася. – Так что он как бы служил олицетворением этого понятия... Его отличительной чертой были слова «надо закрутить такую кашу и мешанину, чтобы за одну ночь мы, персонажи революции, достигли того настроения, которое нам необходимо... Он говорил, что в революции самое главное – настроение... Настроение, настроение и еще раз настроение!.. Как-то это действительно очень похоже на то, что говорил тебе твой Томмазо Кампанелла. Господин Истерики отличался глубокой ненавистью к тем местам, в которых он жил... Действительно, в этом городе было много старых, кособоких и несчастных домишек, да и вообще... В минуты трудностей он всегда впадал в ужасную истерику и не мог терпеть что-либо больше одной ночи... Все ночи его были наполнены истерикой... Еще он говорил, что в революции необычайно важен антураж, костюм, декорации... Театральное действо!.. Сам он одевался в черную блестящую куртку, носил красный платок на шее и очки-велосипедки в серебряной оправе... Враги настолько боялись Господина Истерики, что когда в городе случился белогвардейский мятеж, то Господина Истерики почти сразу после ареста вывели на темную центральную площадь и расстреляли сразу из нескольких пулеметов... Представьте себе низкие, скособоленные домишки и демоническую фигуру Господина Истерики взметавшуюся тут и там посреди них... Настроение, настроение, настроение! – всегда неистовствовал он. – Так-так...

– Между прочим, – проговорил Вася, – меня как-то сразу заинтересовала эта тема... Настолько заинтересовала, что я решил использовать ее в своей институтской учебе... А что, чем черт не шутит, пусть это будет частью моей студенческой научной работы, частью моего реферата по социологии и психологии... Хотите, я прочитаю вам то, что я уже успел написать?..

– Хотим, конечно хотим!.. – тут же вскричали тетушка и ее племянник-курсант чуть ли не хором, поскольку тема их эта как-то очень заинтересовала...

Вася принялся читать свой реферат, особенно торжественным тоном выделив заголовок...

«История Господина Истерики» Реферат

Хочу представить вашему вниманию историю Господина Истерики. Оговорюсь сразу, что ударение в этом имени должно падать на второй слог, как это и положено.

Очень важно представить атмосферу тех лет – тупую, крестьянскую атмосферу. Атмосферу городков, больше похожих на деревни, городов с деревянными деревенскими домами, где множество маленьких и покосившихся деревянных деревенских домиков, где у этих домиков есть крестьянские дворы, где эти дворы огорожены заборами. В таких домах живут большие семьи, которые устроены по крестьянскому образцу, – дети живут вместе с родителями и постоянно испытывают на себе их гнет. Хорошо еще если родители подходящие, интересные люди, а если – самодуры или какие-нибудь глупые, некрасивые люди, вовсе лишенные самолюбия, тщеславия и какого-либо стремления к красивой жизни?! Вот тогда-то – и полная труба... Тогда-то их детям, по несчастью (если бы было так) наделенным хоть каким-то самолюбием, тщеславием и чувством индивидуализма пришлось бы всю жизнь терпеть этот тихий ужас и давление и гнет всяких там Диких и Кабаних (персонажи из драмы А.Н. Островского «Гроза»). Как сказано в энциклопедии, «Кабаниха – центральный персонаж драмы, управляет домом с ветхозаветной суровостью, опираясь на старинный закон быта и обычая. „Порядок“ для нее – средство обуздания вольной жизни»).

Есть люди, которых эта атмосфера устраивает, – это, безусловно, факт, и факт неоспоримый. Но есть также и люди, которым такая атмосфера – как острый нож к горлу, – и это тоже факт. И тоже факт совершенно неоспоримый. К их числу принадлежал и Господин Истерика, о котором и идет речь в данном реферате.

Между прочим, эта атмосфера и сейчас сплошь и рядом присутствует даже и в Москве (может, скоро уже и сто лет пройдет с той поры, а изменилось-то, честно говоря, не так уж и много). Причина очень проста – люди. Российская Империя чуть ли не на девять десятых состояла из крестьян. А что такое крестьяне, и как они живут, и каковы подробности их быта и психологии – понятно каждому. А если было бы непонятно, то необходимо было бы при разъясняющем рассказе применить такие слова: грязь, нищета, убогость, «двух слов связать не могут», полуграмотность, коллектив... Самое ужасное, конечно, было – коллективизм, общинность крестьянской жизни. Лично я понимаю это как необходимость ехать в долгое многодневное путешествие по железной дороге в одном вагоне со всяким полуграмотным сбродом (это очень тяжело – надо сидеть и смотреть на них, и терпеть их, и мучаться от них, и ждать, когда же это ужасное путешествие кончится). Между прочим, «сброд» тут слово тоже очень хорошее, потому что, покидая свои деревни, крестьяне эти сбредались в города и превращались в «сброд».

(Я это все как-то очень «классово», то есть с позиций своего класса подаю, как-то очень с ненавистью... Но вы должны понять, что я добрый, что никакой ненависти ни к какой из частей человечества у меня нет, а просто я хочу понять...)

...Все то, что мы перечислили выше, и было антуражем, в котором возник вдруг Господин Истерика. Неясно, что точно было его предысторией – кто он и откуда, из какого города и из какой семьи, чем раньше занимался, учился ли в какой-нибудь гимназии или ремесленном училище или, может, учился в духовной семинарии, каково было его здоровье и прочая, и прочая, и прочая... Скорее всего, Господин Истерика, как и мой друг – курсант военного училища, обожал комфорт и чистоту и хорошие условия чистенького цивилизованного города, он любил каждый день принимать горячий душ и вытираться после него чистым индивидуальным полотенцем. Точнее, он мог любить это чисто теоретически, понимать, что где-то именно такой чистенький кафельно-прекрасный и никелерованно-блестящий мир и существует, а вместо этого, скорее всего, он видел деревянные избы, стоявшие вдоль городских улиц с лужами, и он очень сильно ненавидел и эти избы и этот город и ему хотелось, чтобы этот кошмар, то есть кошмар и этих изб и этих людей, которые жили в этих избах, прекратился как можно скорее...

Но ничего не происходило, кошмар не прекращался – от него невозможно было избавиться, и Господин Истерика дурел и впадал в панику, и срывался в истерику, в крик, в визг, в

черт знает что!.. Скандал бессмысленный и беспощадный со всеми и против всех преследовал его, и он был постоянно на грани истерики, он был чрезвычайно истеричным человеком, он был настоящим Господином Истерики. Ведь он же жил в большой семье, со множеством родственников и домочадцев, с бабками и прабабками, с дедами и прадедами, с отцами, матерями, братьями и сестрами, которые давили ему на настроение, на психику, которые принуждали его жить так, как этого почему-то хотелось им, которые сами были совершенно не удовлетворены своей жизнью, которые тоже бесконечно скандалили и ругались между собой, которые сами пребывали в постоянной истерике от стесненных обстоятельств своей жизни. Бал правила Истерики... (Точнее, может быть, он и не жил на самом деле очень долго в такой семье, потому что он был революционером, профессиональным революционером, и должен был сбежать из своей семьи еще в ранней юности, но, безусловно, подобный опыт, который и определил в наибольшей степени весь его психический уклад, существовал в его жизни)».

Между тем кроме курсанта, его тетушки, его друга Васи в этом маленьком кафе на первом этаже ГУМа были и еще посетители: два человека. Но их фигуры, согнувшиеся над маленьким столиком, скрадывала темнота, потому что сидели они в самом углу, и там было достаточно темно.

Но какие-то фразы из разговора, который велся за этим столиком в углу, все же долетали и до вновь пришедшей троицы. Долетали тем более отчетливо, что один из говоривших – а это, судя по голосу, был мужчина еще очень молодой, скорее даже не молодой мужчина, а парень – говорил ужасно взвинченным, истеричным тоном:

– Не могу!.. Не могу больше работать на фабрике!.. Проклятье!.. Нет никаких сил!.. Хоть бы изменилось что-нибудь!.. Хоть бы что-нибудь изменилось!.. Все жилы вымотала эта проклятая работа на фабрике... Не могу больше!.. Кто же выдумал эту распроклятую работу и для чего!.. Для чего-то же это издевательство-то и придумано было!.. Хоть бы что-нибудь изменилось!.. – раздались со стороны соседнего столика громкие, истеричные вопли. – Какая же гадина все это мучение выдумала?!. Какая же гадина?!. Где эта гадина?!. Удавил бы ее!..

От этих криков трое – тетушка, курсант, Вася – вздрогнули.

Кажется, вторая, согбенная фигура, которая сидела за столиком напротив истерически кричавшего, почувствовала, что на них обратили внимание, потому что обернулась, – «фигурой» оказалась курносая белобрысая женщина, достаточно молодая, может быть, даже не по годам плохо выглядевшая, с низким лбом и белесыми, странно вывернутыми и изогнутыми широкими бровями. Она была замотана чуть ли не от шеи до пояса в широченный и толстенный грубый платок.

– Тише ты!.. Тише!.. – сказала она кричавшему. – Что ты опять нарываешься, чтобы милицию вызвали?!. Давно не встречался?..

Упоминание о милиции как-то явно заставило ее истеричного собеседника приутихнуть и даже, казалось, приуныть.

– Не поминай их, легавых, они и не появятся!.. – проговорил он уже более спокойно по сравнению со своими прежними воплями.

– Не поминай... А чего ты расшумелся?.. Думаешь, мне легко?.. Та же фабрика!.. Тот же обман: вкалывать заставляют, а платить ни черта не платят. И полутора тысяч со всеми делами не выходит!.. То-то!.. – сказала белобрысая женщина в платке. – А куда деваться?.. Куда деваться?!. Кругом один обман!.. – проговорила она еще раз с чувством. – Обманывают нас, обкрадывают: работать заставляют, а платить – гроши платят!..

– Да-а-а!.. – протянул ее собеседник и зазвенел пустыми пивными бутылками, в изобилии стоявшими на столе. – И здесь погано, но в тюрьму я больше не хочу!.. Мне здоровье дороже!.. В тюрьме последнее здоровье вмиг потеряешь!.. А еще этим... Гомосексуалистом сделают!.. На то она и тюрьма!..

– Ишь ты!.. Смотри, Охалка!.. – встрепенулась при упоминании о тюрьме молодая женщина. – Смотри у меня!.. Чтоб ни-ни!.. Забыл?..

– Не-ет!.. Не забыл!.. – со злобой протянул Охалка, – так, видимо, звали этого парня. – Вот у меня!.. Скалится!.. Забыть не дает!..

С этими словами он закатал рукав и поднес руку ближе к свету, струившемуся от лампы.

Татуировка, которую увидели тоже тетушка, курсант и Вася, изображала оскалившуюся тигриную морду, фашистскую свастику и внизу – перекрещенные человеческие кости.

– Скалится!.. Забыть не дает!.. Многие ему здесь не нравятся!.. – повторил еще раз Охалка.

В этот момент, немного неожиданно, Вася продолжил чтение своего реферата, хотя и тетушка, и курсант, и сам Вася – все трое в этот момент словно бы находились под впечатлением от разговора сидевших рядом молодого мужчины и этой женщины.

Итак, Вася продолжал:

«Пожалуй, в той революционной идеологии и философии, в той методе, которую хотели применить к обустройству жизни Господин Истерика и его товарищи, не было правды и правильности ни на грош, если оценивать их с точки зрения рациональной, если оценивать их с точки зрения пользы для человеческого тела, с точки зрения пользы для правильного и планомерного развития человеческого общества. Господин Истерика, как и его товарищи, был просто бунтарь, смутьян и вольнодумец, но единственное что при этом им двигало – это ненависть к одному настроению и любовь к настроению совершенно другому...»

Тут Вася прервал чтение своего институтского реферата и проговорил:

– Честно говоря, здесь у меня что-то немного не получается... Что-то немного получается не совсем четко, не так четко, как надо... Я понимаю, что для Господина Истерика самое важное не идеология, а настроение, антураж, но я сам при рассказе о нем больше собственным настроением питаюсь... Я здесь не столько ученый, сколько фантазер... О, тому есть, естественно, уважительная причина! – Ведь я же не знаю, каким был Господин Истерика на самом деле... Я в некотором роде могу только домысливать его характер и обстоятельства его жизни, основываясь на каких-то изначальных фактах, краугольных камнях, которые положены в основу всех моих фантазий...

– Послушайте, Вася!.. – проговорила в этот момент тетушка курсанта и даже положила на блюдце ложечку с кусочком пирожного на ней, который только секунду до того она собиралась отправить себе в рот. – Послушайте, Вася, получается, вы полностью фантазируете своего Господина Истерика, вы его придумываете, и совсем не обязательно, что персонаж, реальный, исторический, революционный, если хотите, персонаж, положенный в основу ваших домыслов, был именно таким?..

– Ну да... В некотором роде, конечно, да... – проговорил Вася, который явно не мог понять, куда это клонит тетушка его приятеля. – Я только хотел сказать, что самым главным здесь, в Господине Истерика, для меня является настроение... Для меня и для него, каким я его себе представляю, каким я его сам для себя создал...

– Хотя, с другой стороны, вовсе и нет, потому что я все-таки, хоть и не имея явных к тому доказательств, все-таки леплю своего Господина Истерика из материалов, из которых он только и мог быть в его ситуации слеплен... Следовательно, моя фантазия практически не отличается от исторической истины... – все же в следующее мгновение нашелся что сказать Вася...

– Фантазируете... – в задумчивости протянула тетушка. Курсант смотрел на нее с некоторым недоумением.

И тут же она закончила, обращаясь именно к нему, к курсанту:

– Слушай, мне кажется, мы можем придумать за нашего Томмазо Кампанелла часть его предыстории!.. Ведь мы же сейчас пишем пьесу. А некоторые участники нашего самодеятельного театра «Хорин» сами – как персонажи пьесы. Так почему бы не развить эту ситуацию дальше: пусть та пьеса, которую мы пишем, включает в себя истории, истории, которые являются в некотором роде переложением на драматургическую основу историй жизни самодеятельных актеров, которые в ней играют.

– Послушайте, тетушка, вам не кажется, что вы немного как бы того... Заводитесь и увлекаетесь... А мне ведь завтра на экзамен...

– Ничего, дружок, успеешь. Куда важнее придумать для нашего Томмазо Кампанелла предысторию...

– То есть он у нас будет придуманный, как герой мультика?!..

– Да!..

– Знаете, тетушка, все это для меня более и более странно, потому что, честно говоря, такого опыта в моей курсантской практике прежде не было, и я даже не знаю, как на все это отреагировать... Хотелось бы позвонить и другим товарищам, но неоткуда!.. Все это ввергает меня в состояние какого-то ужасного напряжения... Я чувствую, что я трачу время, которое принадлежит совсем другим занятиям... Но я как-то совершенно не в состоянии остановиться!.. Я как-то иду на поводу у этой «растраты» времени все больше и больше... Странно!

– Все это для тебя странно... – проговорила тетушка в задумчивости. – Да, я тоже чувствую, племянничек, что сегодня обязательно произойдет нечто странное!.. События принимают все более и более странный оборот...

– Ой, тетушка, что-то я как-то от всего этого... Как-то мне, честно говоря, даже немного не по себе стало...

– Точно тебе говорю, не наше это!.. – проговорил друг курсанта Вася. – Но с другой стороны, это некоторым образом совпадает с темой моего реферата по психологии... Поэтому я – за!.. Мне это тоже интересно!.. Давайте придумывать Томмазо Кампанелла!.. Давайте придумывать ему предысторию!..

В этот момент у них за спиной раздался голос, от которого они все как один вздрогнули:

– Кафе закрывается!.. Кафе закрывается!.. Попрошу всех заканчивать!..

Пожилая женщина, на которой был надет большого размера, явно великоватый ей бурокрасный (какое совпадение – опять этот цвет!) фартук, подошла к соседнему столику, за которым сидели парень и белобрысая молодуха и, поставив перед ними большое эмалированное корытце, принялась бесцеремонно сгребать в него со столика грязные стаканы, пепельницу и пустые бутылки:

– Мы закрываемся!.. Мы закрываемся!..

– Вот так-так!.. – проговорила тетушка. – Похоже, Томмазо Кампанелла так и останется для нас человеком, чья предыстория остается совершенно не ясной, – кто он, откуда взялся, где искать корни его столь своеобразного характера – все это будет для нас... Как бы это получше выразиться?

– Непридуманным! – сказал за нее ее племянник-курсант.

– Да, точно! Эта часть истории так и может остаться непридуманной! – проговорила в некотором волнении тетушка.

Опять раздался грохот... Это пожилая женщина, вытирая со стола, за которым сидели те двое, – единственные, кроме хориновцев, – посетители этого кафе, переставила корытце на сторону стола, где она уже протерла, с той стороны, где ей еще только предстояло протереть...

– Чертово кафе!.. Лучше бы мы выпили где-нибудь в подворотне!.. – начал громко ругаться парень, которого называла Охапкой его спутница. – Лучше бы мы выпили где-нибудь у нас в Лефортовской подворотне!.. Ближе к дому!..

Тетушка, курсант и Вася вновь вздрогнули.

– Ничего, еще выпьешь!.. Еще сегодня и выпьешь!.. – также громко, таким же злым тоном ответила его спутница. – Ты ведь с Колькой-то сегодня увидеться должен? А ну! Признавайся!.. Сегодня?!.

– А хоть бы и с Колькой?! Тебе-то что?! – начал громко переругиваться с ней Охапка. – С Колькой увидеться – дело святое!.. Колька – он не откуда-нибудь, Колька – он с войны приехал!.. Расскажет!.. Мне бы к нему спешить надо было, а я здесь с тобой разговоры разговариваю... А ты – вон, вишь... Чего тебе Колька-то?

– А то, что напьешься, не натвори делов!.. Не загреми опять за решетку!..

– Упаси бог! Не хуже тебя знаю!

– Ишь! Расшумелся! Вставай давай! – с этими словами она грубо схватила Охапку за рукав и потащила к двери.

Поднялась со своих мест и троица. Через короткое время все оказались на холоде. Впрочем, Охапка и белобрысая молодуха несколько позже сопровождаемых Васей хориновцев, поскольку за дверью кафе они о чем-то повздорили и ненадолго задержались на гумовской линии и вышли на Ильинку уже вслед за троицей...

– Значит, они считают, что Господин Истерика – это я?!.. – услышали хориновцы и их друг уже знакомые им вопли. – Нет... Я, конечно, бывает, впадаю в состояния... Но нет! Это не я!.. А хотя, черт с ним! Пусть и я! Пусть и я – Господин Истерика.

– Чего ты мелешь!.. – проговорила белобрысая молодуха. – Не надо нам больше твоих истерик. И так – хватит уж! Ты – Охапка!

– Охапка! – повторила она. – Охапка! Ты понял?

– Не-ет! Я – Господин Истерика!.. Мне понравилось!.. – эти неясные вопли все трое услышали уже из темноты.

– А ну-ка, поехали скорее домой, в Лефортово!.. Там выпьем еще!.. – услышали они еще, как будто на прощание. Пьяно кричал, естественно, Охапка. Он же – «самопровозглашенный» Господин Истерика.

– Закусить тебе бы надо!.. Закусить!.. Целый день ничего не ел! – сказала его спутница. – Поедем!.. Там у нас дешевле станет, чем в самом-то центре, у стен кремлевских!..

Послышались удалявшиеся шаги этой пары. Некоторое время хориновцы и их друг стояли в молчании. Первой его нарушила тетушка курсанта:

– Итак, у нас придуман только Господин Истерика!.. – проговорила она.

– Еще как придуман! – это друг курсанта. – У него даже появился двойник в Лефортово!.. Правда, такой двойник, что, уверен, тот настоящий Господин Истерика ужасно бы оскорбился, узнав о подобном двойничестве!..

– А Томмазо Кампанелла совсем еще не придуман!.. – проговорил курсант. – Ни капельки не придуман будущий персонаж нашего будущего спектакля!..

– Ни капельки не придуман Господин Истерика!.. – в тон им ответил Вася.

Все трое довольно быстро пошли по улице, еще сами ясно не представляя, куда они идут...

И дальше нараспев Вася проговорил:

– Он мною, Господин Истерика лю-би-мый, раз-ра-бо-тан для того, чтобы...

– Чтоб мог ты просто повстречаться с историей портрета своего! – закончил курсант, который – и этого не надо бы забывать – был в некотором роде самостоятельным начинающим поэтом...

– А что!.. – проговорила тетушка. – Прекрасно, племянничек!.. Давайте разговаривать стихами!.. Ведь мы все-таки тоже в некотором роде персонажи... Мы же говорили, что участники нашего «Хорина» сами во многом похожи на персонажей какой-то пьесы. Так вот, почему же мы как-то исключаем себя из их числа? Почему мы как-то отделяемся от общей массы, хотя, по совести, нам самое место как раз среди этой массы!..

– То есть вы хотите сказать... – проговорил друг курсанта Вася, – что мы должны сегодняшним вечером превратить нашу, так сказать, реальную жизнь в жизнь театральную, воображаемую и превратить весь наш вечер, всю нашу ночь в один большой, в один-единственный спектакль? О! Это мне нравится!.. Это так в духе Господина Истерика, про которого я все последнее время писал реферат и очень с ним свыкся и сблизился!.. Вот только бы нам не заиграться!.. Только бы нам не заиграться!.. Я уже предупреждал вас о некоторых опасностях подобной театрализации и подобного перевоплощения... Ну да что я всего боюсь!..

И тут он произнес стихами:

«Давайте действовать скорее, чтоб не жалеть уж ни о чем!»

– О! Прекрасно! – откликнулся тут же курсант. – Беру на себя обязательство вообще весь сегодняшний вечер говорить только стихами!

И тут же и курсант в свою очередь сочинил:

Откинем полог тайн быстрее...
Мы этим вечером звено
Последнее узнать спешим скорее:
Истерика, Томмазо Кампанелла,
Судьба, загадка, скорость чувств,
Эмоция!.. Лефортово... Проклятье...

– Между прочим, – проговорил Вася. – Я не сказал вам еще одну очень важную вещь...

– Что?.. Что?.. Какую вещь? – тут же с волнением встрепенулись и тетушка, и ее племянник-курсант, враз позабывший о своем обязательстве говорить весь сегодняшний вечер стихами.

– Этот Господин Истерика был просто не способен к неспешной, простой жизни... Он еще говорил, что родился не в то время и что раньше, когда было много войн и жизнь человека была коротка, его психике было бы легче... И еще: моя тетушка жила здесь, в Лефортово... Кстати, друг мой, почему же ты перестал вдруг говорить стихами?.. Это не по правилам. Не по правилам сегодняшнего более чем странного вечера...

– Каюсь!.. Извините!.. Вот уж, действительно, дал маху!.. Но больше этого со мной не повторится!.. Уж я вам обещаю!.. Уж поверьте!..

Поверьте мне, стихам не враг я
Стихам я друг и, честно говоря...

– Честно говоря, я уверен, что если в Томмазо Кампанелла есть что-то от Господина Истерика, каким я его себе представляю, то он должен сейчас начать раскручивать атмосферу, потому что времени, конечно же, как всегда, очень мало (времени много никогда не бывает, особенно в такие ответственные моменты!)

– Уж это точно!.. Это и про меня сказано!.. Мне же завтра на ответственный смотр!.. Мне же еще подготовиться надо!.. А я здесь мерзну!.. Ужасно время вытекает между пальцев!.. – перебил его курсант. Полы его шинели развевались от быстрой ходьбы.

– Ты же обещал говорить отныне только стихами!.. – укорил друга Вася.

– Ах!.. Черт! Опять забыл!.. Ну все!.. Ну это, уж точно, в последний раз!..

– А мне кажется... – проговорила тетушка курсанта, – что Томмазо Кампанелла должен быть очень мягким и добрым человеком. А вовсе не такой фурией, как вы его пытаетесь нам тут, Вася, представить!.. И потом... Я не понимаю, что это значит – раскручивать атмосферу... Что это может означать практически? Непонятно... А между прочим, когда мы выходили из классной комнаты, туда входили трое милиционеров... Интересно, зачем?..

– Тетушка, если вам так это интересно, так чего же вы ушли? А если не интересно, то чего же вы спрашиваете?.. Ну мало ли почему могли входить туда трое милиционеров?.. В этом нет ничего особенного... Время-то позднее!.. Обычный милицкий обход... Милиционеры обходят окрестности...

– И все же, интересно, что там произошло?.. – не унималась тетушка.

Глава V

Повышенный интерес к малолетним

А произошло следующее...

Хориновцы от удивления чуть ли не разинули рты, глядя, как двери классной комнаты, только что выпустившие тетушку и ее племянника-курсанта, пропускают внутрь нескольких милиционеров...

– Добрый вечер... Попрошу ваши документы... – тот из милиционеров, что вошел первым, смотрел прямо на Господина Радио.

Тот, естественно, тут же полез во внутренний карман пиджака, вытащил паспорт и протянул его милиционеру.

Внимательно пролистав документ, милиционер возвратил его Господину Радио. Остальные хориновцы, в том числе и учитель Воркута, молча наблюдали за происходившим. Впрочем, внимательный наблюдатель мог бы уловить нервозность хотя бы в том, как невольно у многих руки потянулись к карманам, в которых лежали паспорта, как самодеятельные артисты ощупали их, убедившись, что у каждого этот незаменимый документ покоится на своем привычном месте...

– Так... Объясните мне, пожалуйста, что вы и все эти люди здесь делаете?... – спокойно спросил милиционер, и сразу стало ясно, что проверка паспорта была только обычной в таком деле прелюдией, необходимым пунктом, которым тем не менее не исчерпывалась вся программа...

– А в чем, собственно, дело?... – наконец-то пришел в себя Господин Радио, убирая паспорт во внутренний карман пиджака. Впрочем, спросил он совершенно спокойно.

– Кажется... Я знаю, в чем дело... – ответил за милиционеров учитель Воркута. – В милицию... Как бы это сказать... Звонят некие анонимы и сообщают, что очень странные и подозрительные люди устраивают в школе сборища... Анонимы, или аноним, волнуются, что же это за сборища взрослых дядек происходят в школе... Не интересуются ли эти взрослые... Как бы это сказать поделикатнее... малолетними... Ну, что-то вроде какой-то очень нехорошей секты...

– Интересуются!.. Очень интересуются участники этого сборища малолетними! – вставил слово Господин Радио.

Его слова произвели на милиционеров известное, вовсе не приятное впечатление. Господин Радио тем не менее продолжил:

– Я могу сказать, что это сборище вызвано исключительно повышенным интересом к малолетним... По крайней мере с моей стороны...

Милиционер, который попросил Господина Радио предъявить документы и который, судя по всему, был среди них старшим, переглянулся со своими товарищами.

Тут спросил молоденький милиционер, до сих пор молчавший:

– Толпа школьников сюда вчера приходила?... На ваше... На ваше сборище?..

– О-о!.. Вы и это знаете? – проговорил Господин Радио с изрядной долей ехидства, чем произвел на милиционеров еще более неприятное впечатление. – Интересно, кто же это вам донес?..

У одного из милиционеров из рации послышался треск.

– Полагаю, кто-то из родителей моих драгоценных учеников, – ответил за милиционеров учитель Воркута. – Тех из них, которые вчера к нам сюда приходили в составе «группы детей»...

– Да-да, представьте... В нашем самодеятельном театре есть специальная группа детей!.. – Господин Радио шагнул в сторону милиционеров, одновременно заглядывая в лицо

старшему из них. – Представляете, в самодеятельном театре, состоящем из взрослых самодеятельных артистов, есть специальная группа детей...

– Группа детей специально для чего?.. – переспросил старший милиционер. И вслед уже без всяких церемоний и грубо:

– Одевайтесь, пойдете с нами в отделение!..

– Я с вами никуда не пойду!.. – достаточно твердо и совершенно не испугавшись ответил Господин Радио.

– Позвоните в двадцать шестое отделение милиции... Там вам все про меня расскажут, – добавил он.

Тем временем Томмазо Кампанелла продолжал как-то очень нервно шарить по собственным карманам, то и дело доставая из внутреннего кармана пиджака документ, явственно напоминающий паспорт, но очень потрепанный, так, словно этому паспорту лет сто, не меньше, и убирая его обратно... Казалось, что этот хориновец никак не мог сосредоточиться на том нехитром действии, которое он производил, – он явно даже и не смотрел на паспорт...

С того самого момента, как милиционеры вошли в классную комнату, Томмазо Кампанелла пребывал в состоянии крайне напуганном. Чувствовалось – будь у него сейчас малейший шанс как-нибудь незаметно покинуть эту комнату, – он бы сделал это без всяких колебаний.

– Черт возьми!.. Черт возьми!.. Это ж я и так прогуливаю фабрику!.. А тут еще в милицию загреметь!.. Не-ет!.. – бормотал он себе под нос. – Это ж какое будет неприятное разочарование!.. При такой-то ситуации взять и теперь со всем этим «Хорином» просто загреметь в милицию!.. Нет, это совершенно для меня невозможно!..

А Господин Радио, наоборот, выглядел человеком, который ничего не боится и не чувствует за собой никакой вины:

– Этот театр был затеян исключительно для поддержки подрастающего поколения! – воскликнул он. И потом:

– Нам самим, самодеятельным актерам «Хорина», весь этот самодеятельный театр совершенно не нужен... Но мы думаем о своих детях... Вернее, наши дети ведут себя так, что мы вынуждены идти на определенные меры... Вернее, наши дети создают определенный настрой, ими владеет определенное настроение, которое нас вынуждает идти на определенные меры!.. «Группа детей», которую мы сформировали и которая вчера действительно почти в полном составе приходила сюда на репетицию, была сформирована исключительно из этих соображений...

Трое милиционеров, которые уж были готовы потащить Господина Радио в отделение, теперь оказались сбитыми с толку, потому что слова Господина Радио, с одной стороны, могли и укрепить их в подозрениях насчет глубокой порочности всего этого, как они выразились, «сборища», а с другой стороны, были произнесены таким тоном, что... вообще ничего не было понятно!.. Но как-то очень заумно и так, что в некотором роде было странно: неужели предполагаемая порочность может гнездиться здесь одновременно с такой-то заумностью!..

Но сказать милиционеры ничего не успели... Вдруг заговорила женщина-шут, до сих пор стоявшая в сторонке, так что вполне возможно, милиционеры поначалу даже и не обратили на нее внимания. Теперь, когда они увидели ее во всей нелепой странности ее одеяния, они уж, видимо, просто и не знали, что им подумать...

– Господин Радио! Вы вчера сказали, что дети станут только оттенять, «группа детей» будет только чем-то вроде декорации, а сейчас вы говорите, что вообще весь наш театр совершенно не важен, то есть для нас он совершенно не имеет значения, если бы не дети... – женщина-шут разошлась вовсю.

– Между прочим, вот к нам пришла милиция, и это самое хорошее время для того, чтобы спросить... – а это уже учитель Воркута. – Ведь я же все пытаюсь сказать, а здесь меня никто не слушает... А между прочим, вы хоть знаете, что произошло в нашем районе совсем недавно?.. И тут он взял в руку клочок газеты с читанной недавно заметкой и потряс им над головой...

Милиционеры, естественно, удивленные всем тем, что они увидели в этой школьной комнате, пока только смотрели на участников «Хорина», слушали их и словно бы не решались что-либо предпринять...

– А что? Что случилось?! – очень сильно заинтересовался неожиданным сообщением учителя Воркута один пожилой хориновец, который до этого только все время молчал.

– Как что?! Вот же здесь написано...

И вслед учитель Воркута собрался читать ту самую статью, которая была на поднятом им клочке. Похоже, необходимость сообщить остальным участникам самодеятельного театра о событии, о котором рассказывалось в статье, казалась ему настолько важной, что он даже не обращал внимания на милиционеров и всю странность случившейся в этот момент ситуации.

На третьей страничке не самого свежего номера газетки «Криминальные новости» (клочок газеты был ужасно грязный и измятый), там, где мелким шрифтом были помещены «горошки» с сухой информацией о тех или иных событиях, произошедших в криминальном мире, под заголовком «Дерзкий побег из тюрьмы „Матросская тишина“» была опубликована заметка следующего содержания:

«Спешим уведомить наших читателей, что из московского следственного изолятора сорок восемь дробь один, больше известного в народе под названием „тюрьма Матросская тишина“, расположенного на берегу реки Яуза, между небольшим кварталом жилых домов старой застройки и сумасшедшим домом, был совершен дерзкий побег. Сбежал известный преступник по кличке Жора-Людоед, особенно хорошо знакомый следователям по уголовным делам районов Лефортово, Басманных улиц и улиц, прилегающих к Яузе, так как выросший в здешних краях Жора-Людоед именно отсюда начинал свою воровскую карьеру. Впрочем, в дальнейшем этот преступник значительно расширил географию своих черных дел, и милиция нет-нет да и обнаруживала его следы то в одном, то в другом городе, и даже поступала информация о его „деловых“ поездках в сопредельные государства...

Обстоятельства его нынешнего побега до сих пор окутаны тайной. Известно лишь, что Жора-Людоед спустился на набережную Яузы (Русаковскую) с крыши одного из корпусов Матросской тишины по альпинистскому тросу. Скорее всего, трос был передан ему кем-то из работников тюрьмы.

Еще одно любопытное дополнение: известно (разумеется, во вполне определенных кругах), что Жора-Людоед уже не первый раз совершает дерзкий, а главное, удачный побег из тюрьмы. Вообще, «карьеру» этого преступника можно рассматривать, как цепь чередовавшихся друг с другом арестов и побегов. В чем секрет необъяснимой удачливости Жоры-Людоеда не знает никто. Но одно можно утверждать наверняка: в тюрьме он ни разу надолго не задерживался, хотя и попадал туда весьма часто. Больше гулял с «друзьями» на свободе».

Более никаких фактов не приводилось, статья в этом заключалась вся, и не была сопровождена каким бы то ни было рисунком или фотографией.

Милиционеры выслушали чтение учителя Воркуты с большим интересом и вниманием. Скорее всего, они пытались понять, каким образом связан самодеятельный театр и его участники с теми событиями и персонажами, которые были описаны в прочитанной статье. Явно, что такой повышенный интерес самодеятельных актеров к матерому уголовнику Жоре-Людоеду казался милиционерам подозрительным...

– Я уже знаю про это событие!.. – проговорил Господин Радио с крайне важным видом. Он хотел сказать что-то еще, но договорить ему не удалось, потому что вмиг обстановка и настроение в классной комнате школы переменялись: завязалась ужасная куча мала, милиционеры подскочили к Господину Радио и потащили его к двери классной комнаты. Остальные хориновцы окружили их (сразу вытащить Господина Радио из классной комнаты не удалось, потому что он отчаянно упирался и чуть ли не осел на пол, чтобы милиционерам было тяжелее его тащить):

– Ой!.. Ой!.. Что же это?! Как же это?! – раздавалось в классной комнате.

В этот самый момент Томмазо Кампанелла совершенно спокойно повернулся к деду, который стоял рядом с ним, и произнес (пожалуй, лишь эти двое – Томмазо Кампанелла и дедок – не ринулись в образовавшуюся свалку):

– Нет!.. Чувствую, что я зря записался в этот ваш «Хорин»!.. Если сейчас чего, то я скажу, что я здесь совсем ни при чем!.. Так, зашел случайно посмотреть!..

А потом, уже совсем серьезно, сказал, в очередной раз машинально достав из заднего кармана брюк свой внешне такой «древний» паспорт и похлопывая им по ладони другой руки:

– Честно говоря, я очень боюсь милиции!.. Как бы нас того... Действительно не забрали!.. Хотя это, конечно, все ерунда!.. То, что мы сделали, – это никакое не преступление... Да мы вообще ничего не делали... Это просто какая-то глупая клевета и ничего нам за это не будет. Так что бояться нечего!.. А вообще-то я опасаюсь: это вам не со спектаклем в тюремном актовом зале выступать!..

Тут Томмазо Кампанелла наконец-то «разглядел» паспорт, которым похлопывал о ладонь и пока еще просто с удивлением, просто не понимая чего-то, уставился на него:

– Что такое? Что это такое?! – тихо проговорил он при этом.

– Не смей!.. Не смей!.. Оставьте его!.. – тем временем уже визжала женщина-шут и повисла на руке у одного из милиционеров, который, впрочем, оказался настолько силен, что легко стряхнул женщину-шуту с руки и та, упав на пол, зарыдала в голос:

– Ай!.. Ой-ей-ей!.. Что же это такое?! Репетировать не дают!.. Да я теперь с репетиции вообще домой уходить не стану!.. Так и буду в нашем театре жить!..

– Да что же это такое!.. – в свою очередь в сердцах воскликнул один из милиционеров. – Что же это за сборище умалишенных!..

А Томмазо Кампанелла воскликнул, теперь уже почти не обращая внимания на происходившее в школьной комнате:

– Что это?!.. Что это тут лежит у меня в кармане?!..

И он тут же осекся... Можно было вообразить, что он каким-то чудом догадался о том, что на самом деле оказалось у него в кармане, и что сущность этого *нечто* такова, что кричать о нем вовсе не стоит...

– Разве вы не видите?.. – проговорил один из хориновцев, тот, что интересовался журналом «Театр», стоявший к нему в этот момент так же близко, как и дедок (он тоже, оказывается, не кинулся в свалку, а достаточно спокойно наблюдал за всем со стороны, а потом, разглядев, что Томмазо Кампанелла обнаружил у себя в кармане что-то необычное, подошел к нему ближе). – Это паспорт... Ваш паспорт... Самый обыкновенный паспорт.

И точно – ведь Томмазо Кампанелла вытащил из кармана брюк потрепанный паспорт. Чего же еще?

– Но это не мой паспорт... – проговорил Томмазо Кампанелла. – Мой паспорт – вот он!..

С этими словами Томмазо Кампанелла засунул свободную руку в другой задний карман своих поношенных брючек и достал другой паспорт, судя по обложке, гораздо более новенький, чем тот, который он извлек первым...

– Так раскройте же его!.. Посмотрите, чей паспорт оказался в ваших штанах, – урзонила его придвинувшийся еще ближе хорист с потрепанным номером журнала «Театр» в руках.

– Невероятно!.. – пробормотал Томмазо Кампанелла. – Моя фотография!.. И имя мое... Но это не мой паспорт!..

– Сейчас вызовем по рации подмогу и всех заберем к чертовой матери в отделение!.. Пойдете за драку с сотрудниками милиции!.. Вы что?! Не понимаете?! Сейчас по рации... – так же в сердцах, как до этого его товарищ, прокричал в этот момент другой, самый старший из милиционеров.

Упоминание о рации оказалось для этой очень жаркой и страшно нервной перепалки крайне важным, потому что Господин Радио воспрял с грязного пола, на который он уже давным-давно опустился, и воскликнул:

– Рация!.. Радио!.. Рация!.. Да-да!.. Стойте!.. Да прекратите же вы меня тащить!.. Вы ничего не знаете о некоторых обстоятельствах. Я организатор радиомоста!.. Реальное радио...

После этого выкрика Господина Радио решительность тащивших его милиционеров была немного поколеблена. Почувствовав это, он продолжал:

– Перестаньте меня держать!.. Я очень люблю милицию и милиционеров!.. Правда! Это не шутка! Я не подлизываюсь, для того чтобы вы меня отпустили!.. В нашем Лефортово невозможно хорошему человеку не любить милиционеров, потому что кругом одни уголовники и хулиганы!.. Я, между прочим, – добровольный помощник милиции...

Тут уж милиционеры остановились, но полностью Господина Радио они все-таки еще не отпускали.

– Я вам правду говорю, вы должны мне верить!.. – говорил Господин Радио. – Мне просто невозможно не верить, потому что каждый, кто живет в нашем Лефортово, должен понимать, что здесь милиция – самый большой друг самодеятельного артиста и самодеятельного режиссера. Да и вообще, в здешних глубоко некультурных и рабочих кварталах любое увлечение самодеятельным театром возможно только под неусыпным присмотром милиции... Так сказать, моя милиция меня бережет!..

Тут уж они отпустили его, и все самодеятельные актеры, находившиеся в школьной комнате, смогли немного перевести дух, – учащенное сердцебиение у многих из них с этого момента начало успокаиваться, многие вздохнули более свободно...

– Да-да!.. Жора-Людоед... Его ищут!.. Но это – неважно... Сегодняшней ночью в Лефортово... – Господин Радио сделал паузу. – И не только в Лефортово! – добавил он торжественным тоном. – Произойдут удивительные события, центром которых станет театр «Хорин»... Да, все произойдет именно сегодняшней ночью!.. Так что расслабляться рано... Наоборот!.. Удивительные события и ночь интерактивного общения по множеству радиомостов, которые мы все, хориновцы, с божьей помощью наведем, еще только впереди!.. Они, события, должны произойти сегодня ночью!..

– А мы ничего не знали!.. – пораженно проговорила женщина-шут. – Вот так дела!.. Интерактивное общение... Да я даже слов-то таких не знаю!.. Ну радиомосты – это еще туда-сюда... Это еще понятно... Хотя непонятно, как и с кем мы их станем наводить. Но интерактивное общение!.. Ну и дела!.. Да еще события какие-то удивительные!.. А я в этом костюме

шута!.. Как же я предстану перед этими удивительными событиями в таком-то шутовском виде?! А с другой стороны, может, это и хорошо, ведь никто не знает, что это за удивительные события... Какие они будут, эти удивительные события?.. Может, нас в тюрьму всех посадят!.. Может, мой несерьезный костюм, наоборот, даст мне определенные преимущества?! Скажу, что я – идиотка!.. И меня отпустят... Ха-ха!.. Ну и дела!..

– Ничего не знали!.. Вот так дела?! Интересненькие новости!.. Сегодня ночью?.. А мы уже собирались расходиться!.. Мы никуда не пойдём!.. – раздалась реплика хориновцев с разных сторон.

– А это не опасно?.. – волновались другие. Опять градус эмоции и напряжения в школьной комнате начал стремительно ползти вверх. Только теперь уже не по поводу неожиданного вторжения троих милиционеров:

– Но мы же собирались выступать в «Матросской тишине»?! У нас же была такая оригинальная задумка – премьеру пьесы сыграть в тюремных стенах!.. Мы бы точно всех поразили!.. На нас бы обратили внимание!.. Приехало бы телевидение, нас бы показали в новостях по всем каналам!.. То-то бы было здорово!.. А теперь – какие-то удивительные события и радиомосты... Что-то еще будет?! Не слишком ли много необыкновенного?!

– Самодеятельный театр подразумевает неожиданность!.. – проговорил дядечка, который до этого читал журнал «Театр». – Так что я ничему не удивляюсь... Только вот уже очень поздно: я устал, хочу спать и есть!.. Если вы хотите, чтобы я полноценно участвовал в будущих невероятных событиях, то вы должны накормить меня и дать мне поспать хотя бы полчаса где-нибудь на каком-нибудь старом креслице...

Между тем старший по званию милиционер записал что-то в маленький блокнот, а потом сказал:

– Ладно!.. Вижу, что вы все трезвые!.. Так что забирать вас вроде не за что!.. Но смотрите – мы всегда рядом. Если что... Насчет же удивительных событий – не знаю... Посмотрим... Лично меня интересуют хулиганы и уголовники... Да всякие там... – он обвел взглядом стоявших перед ним хориновцев, – вызывающие подозрение граждане... на которых доносят другие, не вызывающие подозрений граждане...

– А вы нас заберите!.. – сказала неожиданно женщина-шут. – Посмотрите, какие мы все странные и заберите нас!.. Уверяю вас, от того сборища людей, которое вы сейчас видите перед своими глазами будут одни лишь... Повторяю, одни лишь, – подчеркнула она, – неприятности!..

– Между прочим, – добавила женщина-шут. – Мы будем даже рады, если вы нас арестуете. Нам давно хочется попасть в тюрьму «Матросская тишина»... Нас интересуют острые впечатления и ощущения!.. Мы очень, как и все люди, боимся тюрьмы и у нас такой, знаете ли... жуткий интерес к ней... Мы даже хотим играть наш спектакль прямо за тюремными стенами... Для заключенных!.. Выступление самодеятельного театра «Хорин» для заключенных «Матросской тишины»... О, там, должно быть, совершенно особый мир, в этой тюрьме!.. Странный, не такой как здесь!.. Впечатляющий!.. Нас, хориновцев, эта тема интересует очень... Нас интересует не только театр... Не только сцена, но и тюрьма!..

Томмазо Кампанелла смотрел на женщину-шута не отрываясь и слушал ее крайне внимательно. Казалось, что все, что связано с тюрьмой, интересовало его настолько, что он даже на какие-то мгновения позабыл про свою странную находку...

– Наверное, над вами зло подшутил кто-то из ваших домашних... – тем временем тихо сказал на ухо Томмазо Кампанелла Журнал «Театр». – Что у вас там записано, – другая прописка, другое имя (может быть, Томмазо Кампанелла?), другой возраст?..

– Исключено! – машинально ответил тот. – Вот уже несколько дней, как я ночую на вокзалах. А паспорт появился только сегодня...

– Вот как? – в свою очередь удивился Журнал Театр. – Ночуете на вокзалах? А почему тогда не в театре «Хорин»? В театре было бы удобнее... А-а, понимаю-понимаю...

Но он так и не сказал, что он понимает...

Тем временем Томмазо Кампанелла быстро склонил голову к потрепанному паспорту, пролистал его... Потрясенно проговорил:

– Имя – Томмазо Кампанелла! Фотография – моя!.. А прописка... Страницы, где обычно бывает прописка – вообще нет!..

– Вырвали?.. – участливо поинтересовался Журнал «Театр».

– Вообще нет!.. – ответил Томмазо Кампанелла.

И внимательно пролистав «ветхий» паспорт еще раз, добавил:

– Здесь страниц меньше!.. Изначально!.. Ну и дела!..

– Мы уже почти договорились об этом выступлении... – продолжала тем временем женщина-шут. – Осталось дело за малым...

Тут она зевнула:

– Действительно, что-то очень хочется спать!.. Это уже пугает. Так ведь можно и проспать самое интересное!.. Ох, боюсь, как бы я не проспала за милую душу самое что ни на есть интересное!.. Со мной такое часто случается... Заснешь на самом интересном месте, проснешься – а фильм-то уж и кончился!..

– Ладно! Пьяных нет – мы пойдем! – сказал старший из милиционеров. Похоже, что все происходившее уже начинало тяготить его. – Были бы пьяные, мы бы остались... А так... Чего нам тут делать?.. Пьяных-то нет!.. Милиционеры направились к дверям...

– «Помяни мя, Господи, егда наступит царствие твое...» – неожиданно проговорил тот пожилой хориновец, который очень интересовался содержимым журнала «Театр» за какой-то там лохматый год.

– Что-что?.. – старший из милиционеров резко обернулся.

Удивленно посмотрел на него и Томмазо Кампанелла. Похоже, вечер и наступавшая ночь действительно решили не дать им всем соскучиться...

– Да нет, это я так, из будущей роли... – проговорил Журнал «Театр». – У меня персонаж будет стоять среди могил на Иноверческом кладбище – это тут недалеко, у нас, в Лефортово, и читать эпитафию, высеченную на каком-то очень древнем, поза-позапрошлого века могильном камне... Впрочем, это очень старое кладбище, на нем уже давным-давно никого не хоронят, и все могилы очень древние... Там хоронили немцев, приехавших жить в Россию по приглашению Петра Первого... Но эпитафия будет русская, православная... Хотя, как так может быть?!.. Хотя здесь, в Лефортово, раньше все так странно перемешалось: русский, немец, – кто разберет?.. Франц Лефорт – знаменитый сподвижник Петра, ведь тоже иностранец, швейцарец... Между прочим, я слышал что как-то – я читал в газете – Жора-Людоед приноровился назначать свидания членам своей банды именно среди могил на Иноверческом кладбище... Там даже он и убил кого-то, с кем не поладил... Там еще есть старая немецкая часовня... На ней цифры – «1907»... Это год постройки...

Больше Журнал «Театр» не сказал ничего, и милиционеры ушли...

Томмазо Кампанелла молча сложил оба своих паспорта вместе и попытался засунуть их в задний карман брюк, порядком поистрепавшихся и измятых во время последних ночевок на вокзале, но там что-то мешалось... Этим «чем-то», когда он извлек его из кармана, оказалась ученическая тетрадь, на которой большими печатными буквами, разъезжавшимися в разные стороны, так, словно их писал пьяный или человек, примостившийся для письма в совершенно не подходившем для этого месте, было написано заглавие:

«Революция в Лефортовских эмоциях и практические указания к действию...»

Кто-нибудь, знавший почерк Томмазо Кампанелла, мог бы подтвердить, что это было писано его рукой...

Глава VI

Два не совсем обычных посетителя азербайджанской шашлычной

Посмотрим внимательнее на сцену необычного театра (конечно, мы теперь прекрасно догадываемся, что это за необычный театр, – это «Хорин»), расположенного в московском районе Лефортово...

...Дальняя часть сцены представляла собою кусок зала ожидания какого-то аэропорта в небольшой западноевропейской стране, скажем, Дании или Швеции, а еще чуть далее виднелся остов современного пассажирского авиалайнера, удивительно напоминавшего собою огромную рыбину... Правее был выстроен макет собора Богоявления, что в Елохове, и вход на станцию метро «Бауманская» с капителью квадратных в сечении колонн, облицованных мрамором. Ближе к зрителям – купеческий старомосковский дом с табличкой у входа «Фабрика елочных игрушек» – деревянный, покосившийся, с резными наличниками на окнах и бухгалтерскими книгами на широких подоконниках, их было видно с улицы за давно немывыми оконными стеклами.

Над всем этим возвышалось далеко не оптимистическое здание тюрьмы «Матросская тишина», а дальше, за самолетом, – торчали мачты парусника без парусов, голые и безжизненные...

Еще там был интерьер какой-то грязной шашлычной, в которой любят собираться низкопробные лефортовские забулдыги и рыночные торговцы овощами, река Яуза в темно-гранитной окантовке берегов, склады Казанской железной дороги, ночь, бред...

Человек, который оказался в окрестностях дома номер пятьдесят шесть по Бакунинской улице, мог бы, имея свободное время, побродить между построек двухсотлетней давности, – а кстати, в одной из них располагался и этот маленький подвальчик, в котором был небольшой зрительный зал с маленькой уютной сценой, – и обнаружить совсем неподалеку, может быть, в пятнадцати-двадцати минутах пешей ходьбы по Лефортово и Басманным дворам и переулкам, по райончикам, прилегающим к Яузским набережным, все те места, которые так или иначе, полностью или частично, фрагментом или целым домом были изображены в декорациях. Кроме, пожалуй, пассажирского самолета и зала ожидания аэропорта... Этот праздно гуляющий, предположим, в свой выходной день, по округе человек был бы поражен, насколько точно театральный художник уловил настроение, колорит, антураж здешних мест. Но оформление сцены не было простой копией, иллюстрацией существовавшего в действительности, скажем, здания тюрьмы или церкви, нет – в творении художника особенно были выпячены те черты, которые, без сомнения, говорили о двухсот-трехсотлетней истории здешних мест, об не-аристократизме здешних улиц, о том, как явственно проглядывала в здешних краях та часть истории столицы, которая, скорее, была связана с военными победами ее государства и с «крепкой рукой» им управлявшей, чем с поражениями и слабостью, дряхлостью царей и советских деятелей... «Государственная», имперская тема была отображена в декорациях весьма сильно, поскольку были там изображены, – все это добавляло декорациям некой эклектичности, нереальности, атмосферы кошмарного сна, – полосатые будки и шлагбаумы – приметы угрюмых времен, высмеянных еще Салтыковым-Щедриным с его Угрюм-Бурчевыми и Держимордами, – еще – бесконечная колонна танков Т-34 с выглядывающими из люков задорными мордастыми танкистами, которую где-то там, в неясной, едва различимой в декорациях дали, пожирало адское пламя фронта Великой Отечественной, ополченцы поры грозного сорок первого года с серыми лицами идут отбивать «фрица» от стен Москвы, петровский парусник и фабрика, которая

действительно лет триста тому назад существовала здесь неподалеку, на берегу Яузы, и ткала паруса для этих самых «изначальных», победоносных петровских флотилий, а еще – стены «Гошпиталя», первого в России, основанного в Лефортово по указу все того же Петра Первого, где умирали от ран «солдатушки-браво-ребятушки»...

Погуляв по Басманным дворам и Лефортово, случайно оказавшийся здесь житель Первостольной мог действительно в какой-то момент набрести на ту самую, не первого разряда, шашлычную, что была отображена в декорациях, и, кто знает, – воля случая неисповедима, – мог после своей прогулки испытывать чувство голода и, привлеченный густыми ароматами готовящегося мяса и специй, слышавшимися оттуда, заглянуть внутрь, отведать какого-нибудь горячего блюда и выпить винца или чаю, или кофе...

Вот только, скорее всего, он не заметил бы двух посетителей шашлычной, которые как раз в тот вечер, по стечению обстоятельств, сидели в небольшой нишке, где стоял маленький столик на двоих, и были спрятаны от тех, кто сидел в общем зале, задернутой портьерой.

Заведение под едва заметной, пусть даже и вблизи, вывеской совсем уж маленькими буквами – «Шашлычная» располагалось в донельзя обшарпанном, едва ли не аварийном двухэтажном доме, построенном, может, сто пятьдесят, а может, и все двести лет тому назад в Лефортово, – теперь он был с кривоватыми стенами, давно не крашенными, не знавшими ремонта, – обычный для этого московского района дом. Соответствующим внешности «особняка» было и помещение, которое занимала эта харчевня, – а точнее, два помещения, а точнее – три: кухня, гардероб, зал, где стояли столы и где сидели посетители. Здесь – немного темновато, не лишено своеобразного уюта и очарования, которым отличительны старые дома, – очень старые, древние и почти уже дышащие на ладан остатки московской старины. Как-то было здесь слишком грязненько, точно бы плохо убрано и вымыто после почти двух веков непрерывного житья!.. Здесь очень долго (да что там долго – никогда!), с царских еще времен не делали приличного ремонта, да вообще, здесь не мешало бы провести реконструкцию, потому что, скорее всего, это помещение никогда не задумывалось, как зал шашлычной. Что здесь раньше было – никто уже не знал. Возможно, просто большая комната в доме какого-нибудь лефортовского торгового человека. Из этого обстоятельства могли проистекать своеобразный здешний колорит и настроение: темненькое, купеческое, дремучее, сытное... В помещении шашлычной обязаны были возникать из стен, крашеных темно-коричневой краской, из тусклых светильников, из тесноты и византийских сводов весьма оригинальные настроения... Да, еще из грубых деревянных столов, впрочем, накрытых (но чем? – Не слишком чистенькими скатертями!), из грубых деревянных стульев, из белых с синей каймой тарелок с золотыми узорами, из захватанных и заляпанных солонок и перчаток, из стаканчиков с мятыми салфетками... Какие настроения – пусть читатель догадывается сам: здесь все было старое, разрушавшееся, но связанное с едой, еда существует для жизни, для насыщения, но очень уж эта еда была в дряхлом месте, но было здесь сытно, кормили сытно и, в общем-то, вкусно, но несовременно и даже, пожалуй, мрачно было здесь... Шашлычная в доме, которому сто пятьдесят-двести лет!..

Да, кстати, кто-то из поваров, как-то раз спяну заночевавших на кухне шашлычной, разнес слух будто по старинному дому по ночам разгуливает привидение – купец, некогда здесь живший... Но это было, скорее, из области забавных слухов. Поговаривали еще о каких-то странных голосах, о часто гаснувшем освещении, – но это, скорее, можно было объяснить ветхостью полуаварийной электропроводки и чрезмерным употреблением горячительных напитков, чем наличием потусторонних сил...

Это место было пристанищем воров и разного рода темных личностей, приближенных к вору. И хотя кормили здесь, надо отдать должное, хорошо (потому что многих посетителей стоило опасаться в совершенно прямом смысле), редко когда заглянувший приличный гость оставался отведать каких-нибудь блюд или приходил потом еще раз. Кроме уголовной

публики здесь, пожалуй, бывали визитерами только какие-то совсем бесшабашные, вконец пропившиеся и угоревшие от вина гуляки, лефортовские забулдыги, картежники, шулеры, да редко-редко навевывалась местная шпана, водившая дружбу с профессиональными ворами, да еще, пожалуй, рыночные торговцы, которые, впрочем, всегда сидели особняком в стороне...

Обслуживали всю эту свору мальчишки-официанты, которых посетители гоняли нещадно, иногда, случалось, и колотили кого-нибудь из них, а хозяином был старый и кривой азербайджанец, чьи земляки почти каждый день баловали это место своим присутствием. Для них по вечерам иногда играл азербайджанские мелодии маленький оркестрик, состоявший из трех музыкантов. Азербайджанцы предпочитали одеваться в нарядные костюмы, на ногах – остроносые туфли, многие важно носили пышные усы.

Место это было в некотором роде почти тайное, подпольное, потому что рекламы шашлычная не давала, расположена была на одной из самых глухих и неприглядных лефортовских улочек, на которой и жилых домов-то было один-два и обчелся, а в остальном – все больше какие-то фабрики, склады, ремонтные мастерские, между которыми стаями бродили изголодавшегося вида бродячие псы, нередко осмеливавшиеся по причине крайней одичалости и безлюдности здешних кварталов нападать на одиноких прохожих, имевших неосторожность чем-то им не понравиться... Редко проезжал милицейский автомобиль, но он, почему-то, возле шашлычной почти никогда не останавливался, словно такого места и не существовало вовсе...

По вечерам из окошек шашлычной, чем-то прикрытых изнутри, свет лился едва-едва, а входную дверь порой просто запирали на щеколду и особенно настойчивому посетителю, знавшему, что здесь и только здесь именно его и ждут, приходилось подолгу стучать в растрескавшиеся доски двери, прежде чем кто-то изнутри отпирал ему...

...Мальчишка-официант, который вместе с двумя другими, такими же, как и он, официантами, обслуживал этим вечером недоброго вида посетителей шашлычной, измученно оглядел полуподвальный зал с полукруглыми, еще позапрошлого века сводами, в котором в тот вечер сидело, выпивало и ужинало не так много народу: вот туда он сейчас отнесет корзиночку с хлебом, за тем столиком уже заждались еще одну бутылку красного вина, а там, за маленьким столиком в нишке, скорее всего, пора принять дополнительный заказ: он был уверен – когда он заглянет туда, блюда будут пусты, а оба запоминавшегося вида гостя будут хлебом вылизывать тарелки...

Скрывая все остальные звуки, громко наяривал азербайджанский оркестрик.

Мальчишка-официант еще раз припомнил сегодняшних посетителей, которых сам хозяин, кривой азербайджанец, проводил за считавшийся здесь привилегированным столик в нишке, бывшей, по сути, еще одной маленькой комнаткой. Кстати, в дальней стене нишки была дверь, которая вела на кухню, а из кухни была еще одна дверь – черный ход на улицу, через которую вносили продукты и проходила обслуга...

Так вот, об этих двух посетителях... Особенно необычную внешность имел тот из них, кто был пониже ростом и поуже в плечах... Глядя на него, хотелось сказать странные слова: его внешность была необычна для... человека... Безусловно, субъект он был весьма и весьма запоминавшийся!.. Во-первых, он был невероятно волосат – настолько, что даже трудно было в нем заподозрить «homo sapiense», а скорее, какое-то животное!.. Так густо его покрывала шерсть! Так, как будто какого-то снежного человека нарядили в человеческое платье. Нос, губы, форма его головы – все было в нем чрезвычайно оригинальным, запоминавшимся, ярким, причем отличие едва ли возможно было описать словами, – пропорции всего со всем в нем были розвившимися от подобных пропорций у других людей, и очень сразу, глядя на него, представлялось, что человек этот занимается каким-то преступным промыслом, причем не тихим и бескровным воровством, а некими бесшабашными разбоями, с

шумной стрельбой, трупам и безумными, дикими попойками после удачно проведенного дела, с курением гашиша и ездой по улицам на скоростном автомобиле в обкуренном состоянии, с бегством от милиции, с погонями, изобиловавшими крутыми поворотами, с поножовщиной и ранней гибелью в каком-нибудь воровском притоне во время драки с такими же, как и он сам, преступниками, с ужинами в таких вот шашлычных, наконец...

Так что этот человек как-то очень подходил ко всем антуражам, ко всему настроению, к облику этой шашлычной, даже внешне, всеми деталями своего интерьера, грубыми, темными, больше похожей на притон воров и грабителей, чем на приличное место...

Второй человек был более «приличен», чем первый, хотя и все руки его были в наколках, – он был широк в плечах и у него был очень пристальный, внимательный и тяжелый взгляд. У него была массивная голова с крупными чертами лица, а через всю щеку проходил наискосок выразительный шрам. Волосы его были стрижены коротко, почти налысо, а руки унизаны несколькими перстнями с большими драгоценными камнями. Он был чисто и, как бы это вернее сказать, немного странно для своей внешности одет – со вкусом и очень изящно, так одеваются люди театра, кино, которым по долгу своей профессии приходится часто появляться в изысканном обществе и которые просто не могут позволить себе выглядеть дурно, пошло... Еще во взгляде его сквозил явно глубокий ум, так что если и предполагалось как-то сразу, что это преступник, то тут же и думалось, что преступник это необыкновенный, можно даже сказать интеллигентный и тонкий, насколько таковым можно остаться при эдаком-то роде занятий, что это не просто преступник, а идеолог преступного мира, его мозг... Это и был Жора-Людоед собственной персоной, еще недавно «парившийся» в камере тюрьмы «Матросская тишина», до которой здесь было, может быть, минут тридцать-сорок пешей ходьбы и минут десять, если ехать на хорошем автомобиле... Человека-зверя, который был с ним, звали очень странно – Жак. Но не потому, что он имел какое-то родство во Франции, а просто это было прозвище его, образованное от фамилии...

Чувствовалось, что оба посетителя шашлычной чрезвычайно голодны, настолько, что даже первое время, что они были здесь, они не беседовали вовсе, а только накупились на еду и насыщались мясным ассорти, салатами и супом жадно, как два изголодавшихся волка...

В нишке, прикрытой от взглядов посетителей задернутыми портьерами, было сумрачно, оттого снаружи, из большого зала, даже когда мальчишка-официант отдергивал портьеру, было трудно разглядеть, кто сидит внутри, зато вот посетители основного зала для двух известных воров, что сидели в нишке, – Жоры-Людоеда и Жака, – были как на ладони. Наличие маленькой двери в дальней стене обещало им возможность легко и незаметно исчезнуть из шашлычной на случай, если в большом зале произойдет что-то непредвиденное и для них опасное...

Стол был уставлен бутылками с водкой и пивом...

– Давай, что ли, выпьем... А то что-то тоска опять навалилась... – проговорил Жора-Людоед и, как-то очень тяжело склонившись над столом, принялся наливать товарищу в маленький граненый стаканчик водки...

– Эх, грусть-тоска его снедает!.. – хриплым голосом, разухабисто проговорил Жак, схватил граненый стаканчик и одним махом опрокинул его в раскрывшуюся на мгновение пунцово-красную пасть...

В этот момент звуки оркестрика народных инструментов, который в этот вечер, как обычно, как и во многие другие вечера, наяривал в шашлычной, как – то вдруг смолкли... Теперь было слышно лишь, как громко переговариваются захмелевшие посетители шашлычной, да громко звенит посуда.

– Ты помнишь, что сказал Рохля?.. В шашлычную придет человек, который поведет себя очень странно... – проговорил Жора-Людоед. – Помнишь?.. Человек, который поведет себя очень странно!..

– Помню-помню!.. – живо откликнулся Жак. – Как же не помнить!.. Пришли бы мы сюда, кабы не только здесь этого человечка, который поведет себя очень странно, повстречать могли... Эх, грусть-тоска его снедает!.. Давай, что ли, еще по одной!.. Жизнь – копейка, а судьба – индейка!.. – с этими словами теперь уже Жак, в свою очередь, разлил остатки хлебного вина, еще бывшие в бутылке, по маленьким граненым стаканчикам... – Пришли бы мы сюда, где нас каждая собака знает, когда у нас уголовка на хвосте сидит и в затылок дышит, а в Язуе труп вертухая из «Матросской тишины» кверху пузом всплыл... Вчера только на пристани баграми выловили... Азербайджанец кривой, хозяин, мне этот не нравится... Доносит он, помяни мое слово, все в уголовку доносит... Опасно здесь!.. Да только ведь тебя не отговоришь, ты ведь, Людоед, когда тебя грусть-тоска снедает, сам на рожон лезешь, риску тебе подавай!..

– Ну ты!.. – цыкнул и даже, кажется, замахнулся слегка на не в меру разошедшегося приятеля Жора-Людоед. – Сам-то хорош!.. Тоже мне, осторожный выискался!.. А что до тоски – это верно!.. Лютая у меня тоска бывает!.. Испытываю!.. Так, что и не до жизни на этом свете!.. Вот как бывает!.. Словно черный пес у меня на загривке сидит...

В этот момент как-то странно шелохнулась портьера и даже показалось обоим, что кто-то с той стороны, за портьерой стоит, но это только казалось, ведь чего только не могло показаться в такой вечер, когда они были измучены милицейским преследованием, устали да еще и выпили теперь!..

– Да ну? Так уж и не до жизни? Это тебе-то?!

– Истинный крест! Верь мне, Жак, так это... Испытываю!.. Молюсь, а испытываю!.. Прямо хоть скорее костлявой в лапы отдайся...

Опять как-то странно шелохнулась портьера, и словно повеяло откуда-то холодным ветерком, но это, наверное, где-то открыли окно или дверь, чтобы чуть-чуть впустить в душный зал свежего воздуха, и возник сквозняк...

– Ну, скажи еще!.. Ты-то – и молишься!.. – Жак хрипло расхохотался.

– Ну ты!.. – опять замахнулся на него Жора-Людоед. – Как бы не был ты мне как брат, порешил бы тебя за такое неверие... Я знаю, знаю... В роду у меня все с тоской были... Хворь это, хворь эта тоска... Хворь психическая... Верь мне, Жакушка... Я знаю... Слушай, скажу тебе первому, потому как ты мне почти как брат и, может, жить нам теперь осталось всего ничего... Все, как есть расскажу, одну правду... Слушай!..

– Так уж и правду?!.. Так уж и совсем ничего жить осталось?!.. – почему-то все не верил Жак, но улыбаться-то тем не менее перестал. Как-то даже сузились его порочные глаза, то ли от страха, то ли... Нет, уж точно теперь ему показалось, что кто-то тут есть при этом разговоре рядом с ними и как-то стало немного даже ему, прожженному Жаку, не по себе...

– Слушай!.. – рявкнул Жора-Людоед.

Казалось, при этом низкие своды шашлычной стали еще ниже. Глаза Жоры-Людоеда горели дьявольским огнем. Он повел свой рассказ неспеша:

– По молодым летам косил я как-то под сумасшедшего в дурдоме, в психиатрической больнице, иначе говоря... Так надо было, надо было так, чтобы по одному делу уголовному признали меня невменяемым... – глаза Жоры-Людоеда затуманились, он откинулся на спинку стула, откинул голову назад, Жак встрепенулся, дернулся к нему, но Жора-Людоед мгновенно пришел в себя и продолжил. – Косить-то я косил, да только рассказывали там мне про одну хворобу, болезнь, при которой испытывает человек день и ночь в любую погоду лютую грусть-тоску... И не то, чтобы есть у него для этого какая-то причина, обстоятельства... Ничего и не надо... То-то и странно, что не надо никаких причин-обстоятельств, возникает эта тоска... и из ничего, сама по себе... Ну а уж ежели какая еще действительно при этом причина сыщется – тут все!.. Пиши пропало!.. Конец!.. Или в петлю залезет, или вены вскрыет... Многие от этой грусть-тоски... Смерть рука об руку с этой грусть-тоскою ходит!..

– Да ну!.. – опять, впрочем, почти уже совсем и веря, усомнился на одну только минутку Жак.

– Вот тебе крест... – Жора-Людоед истово, быстро осенил себя крестным знаменем. Перекрестился и Жак.

Непонятно опять как-то шевельнулась портьера, и обоим показалось, что услышали они некий вздох, глубокий и пронизанный ужасающей, неизбывной тоской, что раздался где-то чуть ли не в воздухе рядом с ними. Опять повеяло холодком...

Жора-Людоед продолжал:

– Многие от этой тоски-хворобы руки на себя наложили... Не вру. Не шучу... Говорили мне там даже про одного писателя-англичанина... Такой ужас бедняга перед этим состоянием, перед грусть-тоской этой испытывал, что едва только она к нему в голову постучит, только-только еще, только едва-едва в гости попросится, как он уже, сам себя за руки удерживая и себе самому не доверяя, – нырь в такси, водиле – «Гони, шеф, в психушку, да мигом, двойной счетчик плачу!», и там сразу шасть в палату – держите, мол, меня четверо, потому как я за себя не в ответе!.. Только я потом, Жак...

Жора-Людоед замолчал, леденя от какого-то странного предчувствия, обернулся, посмотрел на маленькую дверь в дальней стене, ничего необычного не увидел. Жак слушал не перебивая. Жора-Людоед наконец проговорил:

– Только я потом, Жак, все симптомы-то у себя взял и обнаружил... А посмеешь шутить и изгаляться – прибыю!.. Хоть и друг ты мне... Не просто так тоска у меня... Болезнь это. Болезнь, тоска... Я от нее и вором-то стал. Мне ведь, кабы не она, ничего и не надо. Я в монастырь уйти призвание в себе чувствую... Но испытывал, испытывал!.. Ужасной тоски припадки испытывал!.. И от них, от этих ужасных припадков, требовал себе самых ярких, самых сочных в мире впечатлений, да что бы сменяли эти самые сочные в мире впечатления друг друга с головокружительной скоростью!.. Погонь и бегств требовал, денег!.. Легкости требовал!.. Чтob с легкостью одно другое сменяло!.. Утра требовал, утра невероятного, чтob выйти на балкон в номере самой шикарной гостиницы в самом центре Москвы наутро после самой удачной работы в своей жизни, чтob чемодан денег за спиной, в номере, под диваном лежал!.. Выйти и...

Неожиданно, портьера шевельнулась, Жора-Людоед и Жак обмерли и... Отодвинув портьеру, в нишку зашел мальчишка-официант:

– Будет сменять!.. Одно блюдо другим, другое – третьим!.. Вы только кушайте на здоровье, гости дорогие!.. Хозяин велел передать, что ставит вам от себя три бутылки самого лучшего вина!..

Словно в цирковом номере, мальчонка-официант умудрялся нести в руках сразу несколько больших блюд с дымившимися, горячими, только-только из кухни, яствами. Здесь была бастурма, картофель, зажаренный соломкой, какие-то тушеные овощи, еще – тарелочка с мясным ассорти, уже вторая, первую друзья успели в мгновение ока благополучно прикончить...

Жора-Людоед даже позабыл на мгновение, о чем он только что рассказывал своему приятелю. Да и Жак, только что смотревший Жоре-Людоеду чуть ли не в рот, теперь уставился на еду. У обоих потекли слюнки, так они были по-прежнему еще сильно голодны...

Оба принялись есть... Жадно запихивая в рот куски, сшибаясь руками и вилками над тарелками, с которых они, часто прямо пальцами, хватали шашлык, ветчину, овощи, Жора-Людоед и Жак, как ни голодны они были, стали явственней и явственней чувствовать какой-то непонятный холод, который, казалось, вползал в их маленькую залку из-под портьеры.

Вдруг Жора-Людоед перестал есть и проговорил:

– Что-то не нравится мне все это!.. Жак, ты ничего странного не чувствуешь?..

И в это мгновение, словно бы отвечая на его слова и подтверждая их, кругом, во всей шашлычной полностью погас свет...

– Господи! Началось!.. – проговорил Жора-Людоед.

– Что это?!. Что это?!. – заскулил обычно бесстрашный Жак, который всегда говорил, что «храбрец – тот, кто не думает о последствиях».

Тут портьера шевельнулась, и оба, несмотря на темноту, почувствовали, как что-то вступило в нишу, к ним, сюда, где они теперь сидели. Суеверный ужас обуял приятелей...

– Костлявая!.. – это проговорил Жак. – Людоед, сволочь, накаркал-таки своими рассказами!.. Смерть!.. Собственной персоной!.. Явилась-таки!.. – на последних словах Жак перешел почти на крик.

В полной темноте раздался голос. Впрочем, мужской, а не женский, которым костлявой бы говорить приличествовало более:

– Жора-Людоед!.. – голос был хриплый и какой-то очень глухой, действительно, таким голосом могло говорить привидение, только-только вставшее из могилы на Иноверческом, располагавшемся отсюда неподалеку кладбище и даже не успевшее отряхнуть по дороге сюда сырую землю с полуистлевшего савана.

– Станный голос, удивительный голос... – проговорил Людоед, совершенно обалдев от неожиданности и ужаса.

Он с трудом разбирал, что произносит его жуткий собеседник. Оба приятеля даже не слышали за всем этим той суматохи и шума, выкриков посетителей и мальчишек-официантов, впрочем не очень-то и напуганных, настолько уже были пьяны все здесь к этому часу, которые разразились в шашлычной, когда погас свет... Посетители шашлычной, кажется, еще больше в этой темноте развеселились...

– Оркестр!.. Играй народные!.. – раздался выкрик.

– Оркестр!.. Играй повеселее!..

– Оркестр!.. Играй про тюрьму!..

Но оркестрик, игравший преимущественно азербайджанские народные мелодии, по-прежнему молчал, словно вся музыка в этом зале умерла...

– Жора-Людоед, который богема преступного мира, который говорил, что он человек богемы и богему театральную обожает, как червь обожает яблоко, которое он гложет, как волк обожает стадо миленьких кудрявеньких барашков, которых он уже немало задрал, ты ли это?.. Жора-Людоед, откликнись!..

– Не откликайся!.. – сдавленным шепотом произнес Жак. – Не откликайся, проклятая ты добыча дьявола, может пронесет!.. Не откликайся... Не то и себя и меня погубишь!.. Только не откликайся!..

Жак полез под стол и с силой потянул за собой Жору-Людоеда за рукав.

– Жора-Людоед, который вор, который до смерти обожает запах театральных кулис, которого столько раз видели в театре за кулисами, который даже целый месяц перед последним арестом, по слухам, жил не где-нибудь, а в самом центре Москвы, в большом красивом доме, в квартире актрисы... – Голос замаялся...

– Актрисы Юнниковой... – только прошептал потрясенный Жора-Людоед, как тут же волосатая лапа Жака судорожно зажала ему рот, чтобы он не мог больше ничего сказать.

– И даже жил в квартире молодой актрисы Юнниковой!.. – мгновенно повторил зловеющий голос. – Какая связь между вором Жорой-Людоедом и квартирой актрисы Юнниковой?.. Какая?!. Жора-Людоед, ты ли это?.. Откликнись!..

– Не откликайся!.. – это все Жак.

– Какая связь?.. А такая, что Жора-Людоед очень хитрый, очень ловкий и очень пронырливый жулик!.. И где море блеска – там Жора-Людоед, где всякие импрессаришки, где публика околотеатральная, где есть кого ограбить – там Жора-Людоед, где театральные

кулисы, где тщеславие, где актрисы – там Жора-Людоед!.. Антиквары, коллекционеры, меценаты – и рядом то и дело увидишь Жору-Людоеда... Продюсеры, певички, художники – и опять зловещая фигура Жоры-Людоеда рядом вертится!.. И бояться его втайне, и сторонятся порой, и ужас от него, волка саблезубого с топором за поясом, испытывают, а ведь и общаются же!.. Есть какой-то странный вид людей, которых такой, как Жора-Людоед, не просто притягивает... Завораживает!.. Завораживает!.. – Голос неистовствовал. – Чем ты их так завораживаешь, Жора-Людоед?!.. Ведь скольких ты потом ограбил, а ведь кого-то и убил!.. Ведь было же, убил же, хоть и бояться среди театральных людей об этом говорить открыто!..

– У-у!.. Уж ты не прокурор ли?!.. – не выдержал Жора-Людоед, сорвав со рта волосатую лапу Жака. – Воры тоже народ яркий!.. Масть у нас такая!.. Яркая!.. Оттого люди к нам тянутся!.. Никого я не завораживал... А что топор за поясом ношу – верно!.. От тех защищаться, кто нас всех, как баранов, в одно стойло загнать хочет... Нас, людей, душою не помутневших, людей светлых, которые к возвышенному тянутся!.. Нас всех в этом Лефортове проклятом хотят под одну гребенку подстричь!.. Не дамся!.. Не дастся Жора-Людоед!.. Ну, давай, давай, что же ты?!..

Тут Жак, отчаянно пытаясь заткнуть Жоре-Людоеду рот, едва ли не закричал:

– Только Жоры-Людоеда здесь нет!.. Уйди, чертова кукла!.. Не по адресу вещаешь!.. Нету здесь Жоры-Людоеда!.. Ты же сам сказал: Жора-Людоед жил в большом красивом доме, в квартире актрисы Юнниковой... Он и сейчас там от легавых прячется... А друг его, Жак, у подъезда его в машине поджидает, он у него как телохранитель, как верный оруженосец... Да и что бы ему здесь делать, Жоре-то Людоеду... Жора-Людоед, как ты сам сказал, там, где люди театра, высматривает, работы ищет... Сегодня как раз премьера – «Маскарад» Лермонтова с Лассалем... Там и Юнникова играет... Верное дело – Жора-Людоед там сегодня будет!.. Иди туда!.. Прочь!.. Прочь!.. Иди отсюда прочь!.. Тебе туда надо!.. А здесь хорошие люди веселятся и отдыхают. Жоры-Людоеда среди них нет!..

– Верно!.. – прохрипел Голос. – Жора-Людоед там может быть... Ведь ему интрига, эмоция яркая нужна... В театре – блеск... А куда как не на блеск Жора-Людоед со своим ножом окровавленным пойдет... Туда!.. В театр!.. Там и интрига, и эмоция!.. Из тюрьмы – да и в театр он пойдет!.. А из театра – опять в тюрьму... Так и мается...

По-прежнему в нишке была полная темнота. Кажется, в большом зале мальчишки-официанты уже разносили свечи... Посетители немного успокоились, но за портьеру к Жаку и Жоре-Людоеду ни лучика тусклого свечного света не проникало...

– Верное дело!.. Там тебе его надо искать! В театре!.. – проговорил уже одумавшийся Жора-Людоед, поддерживая уловку Жака. – Слышал я, он там с одним знакомым импрессаришкой встречу назначил... Он Жоре-Людоеду всегда раньше наводки давал... А у Жоры-Людоеда опять-таки, я слышал, сейчас никаких работ нет, работы ему ох как нужны!.. Он все сейчас везде ходит, все чего-то разузнать пытается, все работы новые ищет...

– Верно!.. – прохрипел ужасный голос. – И об этом я слышал!.. Да только думал я, зайдет и он сюда повеселиться... И в эту свою нишку-то и засядет отужинать... Повеселиться...

– Да нет... – продолжал спасительную игру, придуманную Жаком, Жора-Людоед. – Ему вообще, Жоре-Людоеду, последнее время не до веселия... Все испытывает он, испытывает... Тоску вроде бы беспричинную испытывает!.. А еще – испытывает он тоску от того, что свет таков, что беспричинная тоска существовать на нем может... И не верит Жора-Людоед, что она беспричинна, что она – хворь!.. Есть, есть, думает он, какая-то самая настоящая, ничуть не выдуманная, не «сумасшедшая», не из психиатрического отделения причина, которую просто никак людишки осознать не могут... Больные вроде бы людишки... Ан – не больные!.. Тайная причина, глубокая, страшная!.. Глубоко в костях всех вещей она коренится, а эта первая, странная тоска – всего лишь слабое предчувствие о ней... О том пред-

чувствие, что есть, есть эта причина, по которой Жоре-Людоеду тосковать надо, да только пока он этого не знает!..

– Верно!.. – прохрипел Голос. – Нет тоски беспричинной... Есть причина, которую человек понять-осознать не может...

– Эй, слепой!.. Ты что здесь с посетителями разговоры разговариваешь?!.. Иди в оркестрик!.. Там твое место!.. – раздался тут голос и портьеру отодвинул мальчишка-официант со свечой в руке.

Тут же послышались шаги и какое-то постукивание...

В свете этой свечи Жора-Людоед и Жак успели разглядеть согбенную, печальную фигуру, удалявшуюся от них в сторону оркестра, постукивая по стене скрипичным смычком так, как слепой пользуется обычно своей палочкой.

– Иду-иду!.. Человека я тут одного хотел застать... Из-за него я больше в хоре самодеятельном музыки не играю... Погубил он одну старуху... А она мне – как мать была!.. – проговорил слепой музыкант, уходя прочь, на свое место в оркестрике.

– Иди!.. Иди отсюда!.. Старуха...

– Боже мой, Жак, это же слепой скрипач, что у старухи Юнниковой в хоре аккомпанировал!.. Только и всего!.. – едва смог проговорить потрясенный Жора-Людоед.

Действительно, старуха Юнникова очень сильно поддерживала и привечала одного слепого скрипача-аккомпаниатора, который очень часто, почти всегда, бывал при Юнниковой на репетициях самодеятельного хора.

Жак сидел разинув рот, не в силах вымолвить ни слова. Мальчонка-официант поставил на стол три бутылки красного вина от хозяина – кривого азербайджанца – и мгновенно исчез...

В эту секунду в зале и в нишке вновь ярко вспыхнул свет.

Тут дверь шашлычной с шумом отворилась, и Жора-Людоед и Жак смогли сквозь приоткрытую мальчишкой-официантом портьеру увидеть крупного молодого мужчину, который вошел в залу...

Между тем посмотрим, что делали в этот момент тетушка, курсант-хориновец и его друг Вася...

Несмотря на то что времени прошло довольно много, а к вечеру синоптики обещали дальнейшее похолодание, – мороз не усилился, а даже, наоборот, как-то немного ослаб... Едва только хориновцы и Вася вышли на улицу, как с неба поначалу немного, а потом все сильнее и сильнее повалил снег. Через очень короткое время они уже с трудом различали вывески на ближних магазинах, а ехавших редких автомобилей вообще было незаметно, если бы в последний момент не выныривали из белого марева ярко горевшие фары.

Вот снег повалил еще гуще и теперь уже редкие прохожие чуть ли не сталкивались друг с другом в сплошном белом мареве...

– Мы так и не успели придумать предысторию для Томмазо Кампанелла!.. Эй, племянничек, где ты?!.. – это тетушка, на мгновение ей показалось, что в этом белом мареве она осталась одна, потерялась и теперь ей не найти своих спутников.

– Да!.. Очень жаль, что кафе в ГУМе закрылось так рано!.. Мы же еще не все обсудили про «Хорин», про Томмазо Кампанелла, про Господина Истерику!.. – раздался откуда-то, словно очень издалека, голос курсанта.

– Ох!.. Господи, а я уж думала, что я тебя потеряла!.. – а это уже тетушка.

– Тетушка, а где Вася?!.. – это спрашивает откуда-то из белого марева курсант. – Кажется, вот его-то мы потеряли.

Они бы, наверное, в этот момент потеряли и друг друга, если бы как раз теперь не оказались напротив большой и ярко освещенной витрины какого-то очень хорошего и, судя

по всему, недешевого магазина. Свет, исходивший из витрины, пронизал снежную бурю насквозь, и здесь-то, как раз, можно было что-то разглядеть...

– Да вот же он, вот!.. – вскричала тетушка и показала курсанту рукой на одинокую темненькую фигурку чуть ли не прильнувшую к ярко освещенной витрине...

– Давайте, я возьму вас за руку, тетушка!.. – проговорил курсант.

– Давай, давай... Вот иди сюда, не поскользись, племянничек... Вот так... Взялись!..

Они взялись за руки и, поддерживая друг друга, чтоб не поскользнуться, медленными, маленькими шажочками двинулись к витрине, возле которой маячила черной тенью Васина спина.

Двое доковыляли до Васи и встали рядом с ним.

Вася не оборачивался, – чуть ли не расплющив о стекло нос, он прижался к витрине и смотрел...

Это был один из больших центральных магазинов, торговавших телевизорами и разной электронной аппаратурой.

– А между прочим, мы так и не знаем, для чего приходила в школу на нашу хориновскую репетицию милиция... – проговорила тетушка.

Но то, что она и ее племянник-курсант с следующее мгновение наконец-то разглядели на экране включенного телевизора, стоявшего в магазине, изрядно потрясло обоих. Поведение Васи, внимательно смотревшего на голубой экран, теперь стало для них объяснимо.

Снег пока еще и не думал стихать...

Часть вторая АНТУРАЖ РЕВОЛЮЦИИ

Глава VII Катехизис революционера

"Революция в лефортовских эмоциях и практические указания к действию», – так было написано на старенькой, потрепанной тетради, которая лежала в заднем кармане брюк Томмазо Кампанелла, того самого, который уже несколько ночей кряду спал на вокзале, по крайней мере, говорил коллегам по «Хорину» о таких обстоятельствах своей жизни. А проверить их для остальных хориновцев не представлялось возможным.

Необходимо поподробнее остановиться на содержании этой тетради. Тем более, что первое и единственное полноценное ее обсуждение состоялось тем же самым вечером, который мы описывали в самом начале, в том же самом здании школы, куда приходил на занятия «Хорина» наряд милиции. Обсуждение состоялось сразу после ухода стражей порядка – наступил горячий час теоретических споров. Но последующие часы должны были стать еще горячее. И не только в теории, не только в теоретических спорах, но и в сугубо практической работе...

Поводом для начала дискуссии стало то, что Томмазо Кампанелла достал вышеупомянутую тетрадь из кармана и шариковой ручкой принялся делать в ней какие-то пометки.

В обстановке всеобщего нервного возбуждения, вполне естественного после столь эмоционально насыщенного разговора с милиционерами, попытка что-то писать не могла не вызвать бурных проявлений любопытства со стороны собратьев по цеху самодеятельных артистов театра.

«Над тем, что является содержанием этой тетрадки, я начал размышлять очень давно, но только теперь понял, что необходимо срочно что-то творить на практике! – говорил в ходе начавшегося обсуждения Томмазо Кампанелла, касаясь содержимого тетради и тех пометок, которые он в ней делал. – В лефортовских эмоциях должна произойти революция. Революция, которая берет одни, прежние эмоции и выбрасывает их из головы к чертовой бабушке! И ставит на их место другие».

Пропагандируя, отстаивая свою точку зрения, Томмазо Кампанелла добавлял:

«Что-то нужно сделать. Нельзя просто сидеть и ждать, пока лефортовские эмоции сожрут меня да и всех нас с потрохами. А в том, что лефортовские эмоции могут сожрать меня да и всех нас с потрохами, сомневаться не приходится. Они достаточно сильны для этого».

Вполне естественно, что этих объяснений оказалось совершенно недостаточно, так как неясным было само содержание понятия «лефортовские эмоции». Отсюда практически невозможным оказывалось правильное понимание хориновцами понятия «революция в лефортовских эмоциях».

В этой тяжелой ситуации Томмазо Кампанелла нашел в себе силы не прекращать разъяснений, столкнувшись на самом начальном их этапе с тяжелой проблемой – полным непониманием со стороны участников «Хорина» того, что он пытается им объяснить. Напротив, он пригласил товарищей, многие из которых были настроены против его задумок достаточно агрессивно, садиться вокруг него кружком на свободные скамьи, которых в школьном классе, конечно же, было предостаточно, и, подобно терпеливому и вдумчивому педагогу, принялся с самого начала, так сказать, «от печки», с присущим ему чувством юмора и

такта, не обращая внимания на колкие замечания коллег, разъяснить наиболее непонятные моменты теории «революции в лефортовских эмоциях».

Так, Томмазо Кампанелла начал свой рассказ с того, что в его понимании означает слово «эмоция». Оказалось, что Томмазо Кампанелла трактует это заимствованное слово гораздо шире, вкладывает в него гораздо больше смыслов, чем оно, это слово, изначально имеет. Он делает слово «эмоция» термином, в который, помимо естественно присущего ему значения «чувство» (как-то – гнев, радость, печаль, сожаление, восхищение, уныние, тоска и проч., и проч., и проч.), входит еще и «настроение», и «отношение к жизни», будь то оптимистическое или пессимистическое, и наличие или отсутствие веры в будущее.

Эмоция в понимании Томмазо Кампанелла – это, скорее, даже «настроение», нежели чем чувство, «совокупность настроений», нежели чем какое-то одно единственное, конкретное настроение.

В мрачном, на взгляд хориновского артиста, московском районе Лефортово эти «эмоции», эти «настроения», эти «чувства», которые переживал Томмазо Кампанелла, приобрели ярко выраженный негативный характер, обусловленный прежде всего тем, что то, что видел вокруг себя самодеятельный артист с утра и до вечера – дома, улицы, городские пейзажи, – было сумеречно, давило на психику, портило настроение.

Томмазо Кампанелла метко сравнивал свои мысли с холстом, на котором живописец – окружающая действительность, малюет теми или иными, радостными или, наоборот, мрачными, красками:

«Что я подразумеваю под лефортовскими эмоциями: ходишь по улицам, смотришь кругом – дома, здания, арки, подъезды, живешь здесь, пьешь, гуляешь, таскаешься работать на эту чертову фабрику, которая из тебя все жилы вытянула. А в голове у тебя, как на картине импрессиониста: детали неясны, непонятны. Но какой-то общий антураж, какой-то общий настрой тем не менее можно ухватить достаточно легко. Как на картине художника импрессиониста, – где нет четкой прорисовки деталей, где только какие-то разноцветные пятна. Они любят так рисовать – импрессионисты – одними Пятнами».

Говоря так, Томмазо Кампанелла следом признавал:

«Да, в лефортовских эмоциях должна произойти революция, иначе я просто не выдержу. Слишком мрачной получается эта картина художника-импрессиониста, которая намалевана в моей беднейшей голове».

Любопытно, что враги Томмазо Кампанелла, можно сказать, его идеологические противники, сходу отметили способность Томмазо Кампанелла мыслить и действовать самостоятельно, представляя его как некий «плод коллективного творчества», как некоего «человека-губку», который лишь активно впитывает в себя чужие идеи, которые якобы «носятся в воздухе», а затем озвучивает их, записывает на бумагу, как-то соединяет в своей голове, выдавая это соединение чужих настроений и придумок за свое собственное «я». Само хориновское имя «Томмазо Кампанелла» подавалось, как доказательство того, что Томмазо Кампанелла на самом деле чуть; ли не «не существует в действительности», а человек, который; зовется этим именем, есть лицо собирательное, «персонаж, который, как губка, впитал в свое подсознание подсознания! других членов „Хорина“». Одним словом, роль Томмазо Кампанелла как личности, сводилась до нуля, до жалкого человечешки, который пьет, прогуливает работу и время от времени делится с хориновцами сомнительными со всех точек зрения переживаниями по поводу „мрачной округи“. Безусловно, первенство по жалобам на „сумеречную округу“ признавалось всеми без исключения хориновцами за Томмазо Кампанелла. В остальном, предполагали хориновцы, Томмазо Кампанелла лишь ловко играет роль.

В связи с этим приведем здесь один разговор, который произошел в ходе того обсуждения и весьма показателен:

– Одним словом, – проговорила Мандрова. – Томмазо Кампанелла хочет сказать, что сложилась революционная ситуация. Она заключается в том, что жить так, как он жил прежде, просто невозможно.

– А что, собственно, вы, Мандрова, все время лезете отвечать за Томмазо Кампанелла. Как будто не он сам хочет что-то сказать, а вы хотите, чтобы он это «что-то» озвучил! – возмутился учитель Воркута, который явно не питал к женщине-? шуту никаких дружеских чувств.

– Так это же самое интересное! Придумывать за кого-то тел мысли, которые ему предстоит думать! – воскликнула женщина-шут. – Особенно за такого человека, который настолько подвержен влияниям, как Томмазо Кампанелла. Уверена, что записи в эту тетрадку Томмазо Кампанелла сделал под диктовку какого-нибудь хориновца.

– Минуточку-минуточку! Я не согласен! – возмутился Журнал «Театр». – Томмазо Кампанелла подвержен влиянию только в одном случае. Он заинтересовывается разговором только в одном случае: если ему кто-то начнет говорить, о том, что есть какой-то способ, какие-то обстоятельства, что-то такое, из-за чего его нынешняя жизнь вдруг перестанет существовать, и вдруг он окажется совсем в другой, полностью отличной от прежней жизни. А жизнью своей нынешней он совершенно не дорожит. Он не дорожит работой на фабрике. Тем временем смелые, полные воли к переменам высказывания Томмазо Кампанелла по поводу лефортовских эмоций чисто отметали все возможные домыслы о его «торичнос-ти», несамостоятельности, «собирательности»: «Какая-то сплошная блевота получается, как будто блевоту размазали по холсту. Но ведь художник импрессионист – это я. Это мое собственное треклятое сознание, мое проклятое настроение, которое я, хоть и не самый несчастный, хоть и не самый слабовольный человек на свете, а даже наоборот, но никак не научусь контролировать», – говорил Томмазо Кампанелла.

И продолжал в ключе практических рекомендаций: «Настроением надо управлять, как фабрикой. Чертова фабрика! Как осточертело мне туда ходить! Как осточертело мне бороться с этим самым собственным мрачным и тоскливым настроением! Но надо приступать к практическим действиям. Ждать я больше не могу. Сейчас как раз хороший момент – есть „Хорин“, есть настроение побороться, только очень хочется спать и есть. Раз картина художника-импрессиониста производит такое мрачное впечатление, значит, можно без всяких сомнений определить причину такого бедственного положения: в ней слишком много мрачных неудобоваримых красок. Надо добавить других, ярких и светлых, мятущихся красок, надо добавить поезд, который мчится с огромной скоростью. От поезда будет дух захватывать. Надо добавить ярких огней, которыми светятся витрины, воображаемые витрины где-то далеко отсюда, надо добавить красок действия, интересных событий, просто-таки вихря событий, который закручивает театр „Хорин“, переворачивает его здание вместе со сценой с фундамента на крышу и выносит в иную, невероятную жизнь, в невероятное утро победы и просветления настроений. Еще надо добавить общений, приключений, всякой всячины и всякой ерунды: залихвацких декораций, талантливых музык. Тогда картина поменяется. Тогда общее настроение на картине художника-импрессиониста поменяется. Ведь мрачные краски будут разбавлены иными красками – красками действия, движения, факелов, театра, морями и озерами огней, шумом аплодисментов и хлопками шампанского в буфете. Вообще, место артиста в буфете. Сейчас у нас нет светлых красок, чтобы осветлить мрачные краски, но мы можем добавить эмоциональных красок, которые будут существовать посреди темных и мрачных красок. Это я и называю революцией в лефортовских эмоциях. Как можно скорее приступать к практическим действиям. Меня съедает нетерпение. Нетерпение – вот мой бог! Это – главное чувство, которое я испытываю на этот момент. Фактор времени... Ах, боже мой, список практических действий у меня уже приготовлен! Театр, успех, новая пьеса, напряженная беготня, придумки, творчество, пусть и самодетель-

ное, выход на профессиональные подмостки и прочая эквилибристика. Бред, масса общений между собой, жаркие споры, возможно – море шампанского. Главное, делать все очень быстро, раскручивать эмоции лавиноподобно. Учитывать фактор времени – любая ложка хороша только к обеду. Это важно. Все должно быть очень сжато по времени!»

Мудрость, проявленная Томмазо Кампанелла при обсуждении с коллегами по цеху самодеятельных артистов вопроса революции в лефортовских эмоциях, заключалась в том, что, делаясь с ними информацией об общей направленности своих настроений, он не конкретизировал практических шагов, которые он собирался осуществить в ближайшем будущем. Дело заключалось в том, что, во-первых, теоретическая проработка этих шагов еще не была полностью завершена им самим. Во-вторых, в своей массе инертные и пассивные хориновцы еще не дозрели до того, чтобы действительно куда-то двигаться. Самого большего, чего от них можно было ожидать на данном этапе, – это нормального выполнения роли сочувствующих зрителей, массовки. Безусловно, «Хорин» не был однороден, и такие его члены, как Господин Радио, были вполне способны и на «самостоятельную игру», но Томмазо Кампанелла это не слишком-то и беспокоило.

Между тем для себя Томмазо Кампанелла уже четко определил некоторые пункты своей собственной революции. Своей революции в лефортовских эмоциях.

Итак, остановимся поподробнее на этих пунктах, информацией о которых Томмазо Кампанелла делился с остальными хориновцами лишь отчасти.

Во-первых, важным пунктом революции в лефортовских эмоциях было «сбитие распорядка дня». Этот термин («сбитое распорядка дня») был тоже одной из важных частей теоретической базы, теоретической подкладки, которую подводил под свою революцию в лефортовских эмоциях Томмазо Кампанелла.

Само слово «сбитие» являлось однокоренным с понятиями «сбить», «сбой», «сбоить», «разбить». То есть, иными словами, «сбитие распорядка дня» означало разрушение привычного, сложившегося годами, месяцами, неделями распорядка дня. По поводу этого Томмазо Кампанелла любил повторять: «Превратить ночь в день, а день в ночь – вот главнейшая и первейшая задача сегодняшнего момента». Действительно, хориновцы, а с ними и Томмазо Кампанелла, хотели чего-то романтического, чего-то свежего, чего-то необычного, чего-то неожиданного. Но – и это опять-таки любил повторять Томмазо Кампанелла: «Что отличает добропорядочного обывателя от человека, пошедшего путем личной революции, от человека, пошедшего вразнос, так это ночь без сна! Ночь вне закона». Хориновцы осознавали, что «не спать ночью – это первейшая задача сегодняшнего дня». Отоспаться можно будет и потом – через день, через три дня, через неделю, через месяц наконец можно будет отоспаться. Но утратить ночь как время наиболее романтическое, когда окружающая действительность отчасти сокрыта мраком, отчасти вообще не воспринимается по причине крайней усталости и притупленности чувств, проспав ее, это время поэтов и гениев, грабителей И гуляк, было смерти подобно.

– Прогрессивное движение за ночь без сна под лозунгом «Не спать!», последовательным сторонником которого был не только Томмазо Кампанелла, но и многие другие хориновцы, безусловно, ставило задачу «наполнения ночей». Просто так бодрствовать, безусловно, не было бы никакой революцией. По замыслу Томмазо Кампанелла, «сбитие распорядка дня» должно было непременно подкрепляться каким-то очень активным занятием. В той части «революции в лефортовских эмоциях», которую Томмазо Кампанелла не стал обсуждать с хориновцами, прямо указывалось на три возможных варианта наполнения ночи.

«Загул, преступление и работа – вот то, единственное, чем мы, хориновцы, можем наполнять наши ночи, что станут ночами без сна», – писал Томмазо Кампанелла в своей тетрадке.

Дальше в своей тетрадке Томмазо Кампанелла подчеркивал, что хориновцы не могут идти на преступление, загул не столь интересен им ввиду того, что только для того, чтобы пуститься в загул, не стоило организовывать самый необыкновенный в мире самодеятельный театр. «Работа, – очень точно подмечал Томмазо Кампанелла. – Работа и еще раз работа. Вот чем должна быть заполнена хориновская ночь. Но работа необыкновенная, яркая, творческая. Работа, которая подобна бенгальскому огню, так она рассыпает вокруг себя искры чего-то необыкновенного, притягательного, приближающегося по силе воздействия на человеческое настроение к силе воздействия волшебства. Работа, которая сама по себе порождает множество ярких событий, которые освещают ночь подобно пожару тысячи электрических ламп. Только такая работа может освящать собою и претворять в жизнь революцию в лефтортовских эмоциях. И тогда мрак прежних лефтортовских эмоций будет побежден».

Однако, как справедливо подчеркивал Томмазо Кампанелла в своих записках, революция в лефтортовских настроениях – штука архисложнейшая. Честное слово, до сих пор теоретический ее базис был разработан крайне слабо. Лишь приблизительно можно было утверждать, что были известны более-менее важные пункты, предпосылки революции в настроениях (а более конкретно, для случая Томмазо Кампанелла – революции в лефтортовских настроениях).

Итак, работа яркая и шипящая, как сверкающий бенгальский огонь. Томмазо Кампанелла неоднократно подчеркивал, что именно этим моментом «Хорин», хориновская ночь репетиций может быть особенно архисильна. Более того, Томмазо Кампанелла проводил мысль о том, что ночь хориновских репетиций, ночь хориновской работы с ее невероятными переходами от одного предполагаемого варианта пьесы к другому, с ее особым нагромождением декораций, которые вряд ли можно встретить в каком-нибудь профессиональном, «несумасшедшем», по меткому выражению Томмазо Кампанелла, театре, есть не просто одно из возможных условий революции настроений, а есть единственно возможная предпосылка такой революции, без наличия которой вообще никакая эмоциональная революция невозможна.

Отметая заявления ренегатов о самодостаточности «Хорина» и хориновской поздней репетиции, Томмазо Кампанелла в своих многочисленных размышлениях обосновывал тезис о том, что «Хорин» должен стать лишь сценической площадкой, лишь базой, лишь питательным бульоном, в котором, по меткому выражению Томмазо Кампанелла, «должны возвращаться и культивироваться бактерии событий». Этот бульон, этот «Хорин» как сценическая площадка, с ее своеобразным набором декораций, порождающих в человеческой голове определенные настроения, с ее аурой, с аурой «ночи без сна» (а Томмазо Кампанелла отмечал, что в перемене настроений играет роль некоторая одурелость, присущая позднему времени, когда человек уже достаточно сильно устал), так вот, все это становится той закваской, тем полем битвы, на котором происходят события, которые, собственно говоря, как говорил Томмазо Кампанелла, «и добивают прежние настроения сумеречной депрессии», открывая дорогу «новой жизни, новым настроениям, новым делам, новым ярким ночам и работам».

«Хориновцы должны требовать от своих заводил, от тех людей, которые по собственной воле или по требованию коллектива самодеятельных артистов берутся командовать на хориновских репетициях, чтобы было создано то, что называется „людским морем“». В „Хорин“ должно постоянно привлекаться как можно больше людей. Причем люди эти должны быть как можно более яркими, разными и выдающимися. С этой целью ежемесячно, еженедельно, ежечасно, ежесекундно, должна проводиться работа по расклейке объявлений с приглашением заинтересованных лиц вливаться в ряды „Хорина“. Эта работа должна проводиться по районам города специально назначенными группами по двое-трое хориновцев. Должны проводиться собеседования, творческие конкурсы, просмотры и так далее, и тому

подобное. Людское море, это варево из людей – самых разных, самых ярких, самых неожиданных, несовместимых – должно создавать внутри себя определенную сказочную, фантастическую, невероятную атмосферу. Так, чтобы даже только под ее воздействием в голове Томмазо Кампанелла (и, так же как в его голове, в голове каждого хориновца) происходило полное обновление настроений. Происходила полная смена настроений. Под воздействием этого людского котла, артист самодеятельности должен был в хорошем смысле слова „одуреть“, он должен был забыть обо всем, что его угнетало только совсем недавно.

Важно требовать от своих заводил создания в «Хорине» этой необъятной людской толпы еще и потому, что это является предпосылкой того, что между таким множеством людей-электродов, каждый со своим собственным настроением и своими чаяниями, наверняка промелькнет рано или поздно, словно искра, какое-то событие».

Томмазо Кампанелла формулировал, что «это множество людей должно не только пассивно ожидать событий, как того, что может переменить их жизнь, но и активно провоцировать возникновение факта события своей неутомимой деятельностью». Томмазо Кампанелла любил повторять известную поговорку русского народа о том, что «под лежащий камень вода не течет». Томмазо Кампанелла направлял усилия хориновцев на «неуклонное превращение „Хорина“ из самого необычного в мире самодеятельного театра в самый необычный в мире театр профессиональный». «Для этого все средства хороши!» – писал Томмазо Кампанелла в своей тетрадке. – «Обращаться на радио, телевидение, в концертные залы, предлагать свои варианты пьес, сценок, этюдов для постановки на всевозможных профессиональных сценических площадках. Вступить в сговор, в отношения с чертом, с концертной организацией, с театральным импресарио, с кем угодно, но дать о себе знать миру. Пусть мир узнает о нас, как о Геростратах, как о гениях, как о чертях, как об ангелах, пусть вообще ничего о нас не узнает, но при этом должно произойти столько событий, столько невероятных сцен, шагов, представлений и обмороков, что настроение должно быть таким, какое бывает, когда захватывает дух».

Так, через это осознание того, что «настроение должно быть таким, какое бывает, когда захватывает дух», выкристаллизовалась безжалостно простая формула Томмазо Кампанелла «о факторе времени». Томмазо Кампанелла много и упорно работал над своими мыслями. В своих рассуждениях Томмазо Кампанелла заходил настолько далеко, что для него со всей беспощадностью становилось очевидным соображение о том, что все многочисленные факторы, из которых и состоит революция эмоций, революция настроений, революция в лефоровских настроениях, должны быть слиты воедино в один плавильный котел именно в один определенный вечер. Или, по крайней мере, в два, в три, но никак не более вечеров. В один прекрасный, поистине прекрасный и революционный вечер должно произойти и «сбитие режима», и случиться «людское море», и ночь без сна, и тысячи разнообразных событий, и в статусе «Хорина» должны произойти какие-то невероятные перемены. Все должно случиться практически одновременно, все должен вместить в себя один или два, или три, но никак не более вечеров.

На это, как на фактор времени, присутствие которого, выполнение которого архиважно в деле революции настроений, и указывал Томмазо Кампанелла со всей беспощадностью своей отточенной в размышлениях логики.

Был момент, когда Томмазо Кампанелла опять полез рукой в задний карман брюк.

– И, черт возьми, что это такое?! Что же это все-таки такое?! – проговорил он, достав вслед за тетрадкой потрепанный, ветхий паспорт.

Это было тяжелое для Томмазо Кампанелла время. Революция в настроениях отнимала много сил и времени, и пламенный хориновец не всегда имел возможность спокойно подумать о каких-то очень важных, очень беспокоивших его вещах.

«За всей этой сутолокой событий и настроений вот эта вот ерунда почему-то беспокоит меня больше всего. Как какая-то заноза, которая сидит в сознании и не дает успокоиться. Какой-то странный, старый и потрепанный паспорт, который каким-то неведомым образом оказывается у меня в кармане, и что с ним теперь делать и чего теперь от него ждать – непонятно!» – так раскрывал Томмазо Кампанелла сущность некоторых чувств и соображений, которые, в числе прочих, одолевали его в тот примечательный хориновский и революционный вечер.

– А!.. Понимаю, – проговорил он, словно догадавшись о чем-то. – Конечно! Как же я сразу не сообразил?! Никакие это не домашние подстроили. Это не Шубка, и не Лефортовска Царевна – мой сын и моя жена. Как домашним подстраивать, если я и домой-то не заходил? Они бы просто не смогли засунуть паспорт мне в карман. Сколько уж дней дома не был. Сегодня же репетиция, занятие, посвященное юмору. Видимо, это начало какого-то розыгрыша. Возможно, неудавшегося розыгрыша. Понимаю-понимаю... Какие усилия! Бланк-то паспорта, судя по всему, настоящий. Где же вы могли его раздобыть? Ну, ладно-ладно! Больше ничего спрашивать не буду. Розыгрыш – так розыгрыш.

Вертя в руках необычный паспорт, Томмазо Кампанелла так оценивал воздействие на него некоторых эмоций, вызванных к жизни этой картонной книжицей:

«Я человек непьющий, но иногда от нервов хочется выпить. Это такое обычное состояние, когда нервничаешь и собираешься из-за этого надраться. Вообще-то, я не пью. Но тут что-то как-то из-за этого паспорта так занервничал, сам не знаю почему. Прямо руки затряслись. Даже захотело», вмазать стакан или бокал, или рюмку, или большую пол-литровую пивную кружку. Ну и шуточки!.. Нет, я понимаю и дай же оценил. Но слишком сложно – такая подготовка! Даже бланк настоящий. Совершенно мне непонятно, кто бы мой провести такую нешуточную подготовку – раздобыть настоящий бланк паспорта просто, чтобы пошутить надо мной. Не слишком ли серьезные шутки для такого несерьезного человека, как я. Хотя, сказать по правде, я человек очень серьезный».

– Я предлагаю всем скорее покинуть это помещение, пока сюда опять не пришла милиция! Чего-то я их опасаюсь, – вдруг проговорил Томмазо Кампанелла. – И отправиться куда-нибудь в другое место. Вообще, вариантов существует несколько: например, можно превратить сегодняшнюю ночь в ночь одного большого загула. Пропиться, протратиться, если есть, конечно, что тратить. Хотя, понятно, что тратить нечего. Денег нет.

Далее Томмазо Кампанелла отмечал: «Превратить сегодняшнюю ночь в одну большую ночь одного большого загула было бы, безусловно, гораздо интересней; чем просто пойти домой или на вокзал (кому нельзя идти домой или некуда) и лечь спать, хотя бы по той простой причине, что это, конечно же, я имею в виду загул, гораздо легче переносить, чем всю эту скучную и ненужную жизнь, которая уже, можно сказать, и закончилась (продолжать ее дат никакого смысла). Я имею в виду жизнь, как картину художника-импрессиониста в моей голове, в моей душе, нарисованную преимущественно грубыми мрачными мазками. В этом смысле я считаю, что пьяницы – это тоже одни из первейших и натуральнейших революционеров и свобододолюбцев в России, потому что загул, особенно большой загул с продолжением, – это, безусловно, революция в жизни, потому что за „ремя и во время такого загула очень многое в жизни может перемениться даже с практической стороны дела. Напился – и сколько новых событий может произойти, непредвиденных встреч, опасностей, тревог, радостей и щедрот жизни. Будет что вспомнить! А уж мрачная лефортовская картина уж точно отступит из башки. Ее просто смоем волной алкоголя, как потоком. Все сразу поменяется. Здорово! Да! Никакого Лефортово. Лефортово просто вымоет из реестра настроений. – Безусловно, большой загул – это революция. А я за продолжение революции. Я за революцию вечную, перманентную, никогда не прекращающуюся. Революция, обновление, борьба с плохим настроением... Сейчас для меня на первом месте стоит борьба с плохим

настроением. И остальных хориновцев, и вас я постараюсь изо всех сил убедить, что для нас сегодня ночью самое главное – любой ценой, хотя бы даже ценой пьянства – одолеть плохое настроение и мрачные картины художников-импрессионистов в наших головах. Борьба с плохим настроением – это, безусловно, самое важное дело. И в нем загул может оказать вполне определенную помощь. Хотя и временную“.

– Вот видите! – воскликнула женщина-шут, когда она прослушала речь Томмазо Кампанелла, в которой он восхвалял пьяниц как первейших революционеров и свободолюбцев. – Я же говорила вам: Томмазо Кампанелла – вторичен. Он как губка, которая впитывает в себя хоть и яркие, но чужие мысли, намерения. А ему самому эти намерения не свойственны. Он ренегат и представитель хориновского «болота», в котором ему надо сидеть вместе с госпожой Юнниковой и петь песни на иностранных языках. Только недавно он сам убеждал нас, что загул для хориновской революции настроений совершенно не интересен, так как только для того, чтобы пуститься в загул, не стоило создавать самый необычный в мире самодеятельный театр. И тут же Томмазо Кампанелла выступает в роли «певца загула». Так где же логика? Где же последовательность мысли? И чем можно объяснить такую непоследовательность, кроме как тем, что Томмазо Кампанелла – это жалкий гуляка и пьяница, который в определенные моменты, с целью придания самому себе важности, начинает талдычить, выдавая их за свои, слова, которые он где-то там, в разговорах других хориновцев, насобирает?!

– Я – скромный человек, – проговорил Томмазо Кампанелла. – Я действительно не сделал ничего такого, по сравнению с другими самодеятельными артистами «Хорина», о чем следовало бы говорить.

– Нам надо продолжать репетицию, – вмешался в дискуссию Господин Радио. – Если мы все загуляем, то на нашем спектакле можно поставить крест. На революции в настроениях можно будет поставить жирный крест. Нам сейчас необходимо любой ценой продолжать репетицию. И никаких загулов! Нам нужно определиться с пьесой, с сюжетом, со сценарием, который мы будем играть. Тот, кто сейчас призывает нас к загулу, однозначно должен быть расцenen и заклемен, как предатель всего хориновского дела, как предатель десятков хориновцев, которые готовы поставить на кон, ради успеха нашей общей пьесы, и нормальный сон, и правильное питание, и режим, и покой, и все, все, все...

Однако, вопреки заверениям Господина Радио, многие хориновцы не спешили безоговорочно поддержать «ночь без сна» и так уж безоглядно поддержать «сбитие режима».

– Мы тоже за репетицию. Репетиция – оно, конечно, дело важное. Вот только сегодня мы уже, как бы это сказать, устали маленько. Ты, Господин Радио, выходной, наверное, сегодня был. А мы целый день вкалывали, понимаешь... Так что сейчас лучше бы и по домам! А там продолжим... Завтра новый день будет. За ним еще. Чего горячку пороть? – проговорил один из находившихся в комнате хориновцев, человек пожилой, степенный, с заскорузлыми мозолистыми руками рабочего. На нем был черный, изрядно поношенный костюм и белая, застегнутая до последней пуговички под горло рубашка с застиранным до той степени, когда он начинает рваться, воротником. – Время-то позднее. Ужинать хочется. Баба-то моя, наверное, уже кастрюлю с вареной картошкой с плиты сняла. Огурчик домашнего соления из банки трехлитровой вынула. Гуляш на плите скворчит.

Из разных углов классной комнаты послышалось:

– У меня с раннего утра маковой росинки во рту не было!

– Перебегая через мосточек, кленовый листочек и тот не успели перехватить. А мосточек-то о-го-го какой длиннехонький! Застрелиться можно. Прямо-таки Матросский мост, что возле тюрьмы «Матросская тишина»!

– Ее величество революция в настроениях всех накормит! – пробовал было спорить Господин Радио, но его голос потонул в возмущенных голосах хориновцев, требовавших прекращения репетиции.

Со всех сторон слышалось:

– В сон клонит! В таком состоянии художественным творчеством заниматься тяжело-вато.

– Творчеством художественным лучше заниматься пока еще не очень устал! Так что лучше сейчас пойти домой и просто лечь спать. К тому же жрать, действительно, хочется очень сильно.

– Голодное брюхо к творчеству глухо!

– Ничего с голодным брюхом хорошего все равно не получится. Сделаем ночной перерыв на жратву и отдых.

– Завтра всем на работу идти! Забыли, что ли?!

Все повскакивали со школьных скамеек и сгрудились вокруг Господина Радио. Среди вскочивших были практически все самые ненадежные хориновцы, на которых не могли полагаться ни Томмазо Кампанелла, ни Господин Радио, ни преданная руководителю «Хорина» женщина-шут Мандрова, ни Воркута, ни Журнал «Театр».

Костяк преданных хориновцев по-прежнему сидел на скамейках, поддерживая тем самым своего режиссера и Томмазо Кампанелла. «Самые верные» спокойно наблюдали за беснованием «болота»:

– А завтра опять соберемся на репетицию! – радостно вопила какая-то самодеятельная артистка без двух передних зубов. – Завтра-то, наверное, и декорации будут почти закончены.

Услышав это, остальные загалдели еще громче:

– Можно будет репетировать в зальчике!

– Там мы уже не будем никому мешать!

– Отлично! Сейчас пойдем домой, а завтра не будем никому мешать.

– Завтра, завтра, не сегодня! – лейтмотивом раздавалось по школьному классу.

Верный своему принципу даже в самых сложных ситуациях не переставать думать о деле о революции в лефортовских эмоциях, Томмазо Кампанелла продолжал рассуждать, словно бы сам с собой, а на самом деле адресуя свою речь Господину Радио. Два самых выдающихся представителя обновленного «Хорина», два самых выдающихся теоретика хориновского движения частенько беседовали так между собой, провоцировали так друг друга всевозможными спорными высказываниями и предложениями. В этих острых дискуссиях и рождалась теоретическая база хориновской революции в настроениях.

– Куда же можно двинуть? – спросил сам себя Томмазо Кампанелла, точно бы и не слышав того, что сказал насчет загула Господин Радио. – Нет. Если загулять, то я бы двинул в кафешку у железнодорожного моста. Кафешку-пивнушку. Стекляшку. Дешевле не придумаешь. А то в такую зимнюю погоду развлекаться на улице, под открытым небом как-то не очень хочется. Там, в этой пивнушке-стекляшке, в этой кафешке, мог бы быть центр, откуда начнется переворот в наших лефортовских эмоциях. Мы бы раскрутили эмоции, как маховик, который бешено вращается. Неостановимо. Безудержно! Сначала бы взяли пива, с этого бы началась наша борьба с мрачными и тягостными эмоциями, потом – еще пива, потом – еще пива. Где бы только мы взяли столько денег – ума не приложу! Потом мы бы взяли водки. Господин Радио бы к этому времени уже бы лежал в проходе и не мог бы...

– Нет, Томмазо Кампанелла, – опять спокойно сказал Господин Радио. – Это были бы пьяные эмоции, а это нам совершенно не годится. Томмазо Кампанелла, вы иногда называете себя самым истинным революционером в лефортовских эмоциях, вы пытаетесь преодолеть отрицательные эмоции, которые порождает у вас жизнь в Лефортово, вы очень ловко пере-

делали фразу революционера Нечаева о том, что истинному революционеру надо «соединиться с диким разбойничьим миром – этим единственным революционером в России», но только вам и прежде всего лично вам этот вариант не подходит. Вам не нужны пьяные эмоции, вам нужны трезвые эмоции. Потому что напиться и соединиться с миром диких пьяниц – это было бы нечестно. Напиться, забыться, перестать думать, дать себе алкогольным кирпичом по башке. Совершенно не по-хориновски подавлять в себе мысль и эмоцию. А вы, Томмазо Кампанелла, хотите честно, непременно честно преодолеть те отрицательные эмоции, которые вызывает в вас Лефортово, жизнь в Лефортово. Следовательно, алкогольное забытие необходимо заклеить как способ нечестный, способ, который для Томмазо Кампанелла совершенно не подходит.

– Точно! Это точно. Об этом я как-то в эту минуту не подумал! – с жаром проговорил Томмазо Кампанелла. – Я должен преодолеть то, что я называю «лефортовскими эмоциями» честно, без самоодурманивания. Я должен получить новые эмоции путем личной революции, путем мгновенной, за один вечер, перемены своих настроений, я должен раскрутить все остальные эмоции, кроме лефортовских, как гигантский, бешено крутящийся маховик, и тогда, я верю, Лефортово, лефортовские эмоции, настроения отступят. Маховик. Необходим маховик и сильные, крупные, эмоциональные мазки художника на полотне нашего настроения! – с жаром закончил Томмазо Кампанелла.

Глава VIII

Пора сгущать атмосферу!

Тем временем Томмазо Кампанелла и сам не заметил, что галдеж в классной комнате давно смолк, и все, даже самые «болотистые» хориновцы слушают только его. Едва он закончил говорить, как раздались громкие аплодисменты.

Между тем Воркута в нахлобученном на него Мандровой колпаке и еще один хориновец, по фамилии Скопцов, – он, кстати, в некотором роде был коллегой учителю, потому что тоже подвизался при районном методическом кабинете в системе среднего образования, – до того вдруг зачитались обрывком газеты «Криминальные новости», который Воркута поднял с пола, что совершенно не замечали ни Томмазо Кампанелла, ни Господина Радио, ни собиравшихся домой хориновцев.

– Кстати, в том же «Катехизисе революционера» сказано, что «революционер есть человек обреченный», – произнес Господин Радио. – Значит, и ваш путь, Томмазо Кампанелла, будет жертвенным путем. Что же получается: в результате этого вечера Томмазо Кампанелла погибнет, будет сожжен на костре, посажен в тюрьму? А может, это пьянство, от которого вы так и не сможете удержаться, хотя вы и говорите, что не пьете, доведет вас до беды? Так ли это?

– Не знаю. Не знаю! Не хотелось бы. В конце концов это только игра, театр, настроения – какие тут могут быть жертвы?! – это Томмазо Кампанелла. – В милицию, что ли, заберут? Не-ет, в милицию я не хочу. Там в камере предварительного заключения нет необходимых мне бытовых условий. Нет душа, нет белого кафеля и блестящих сантехнических устройств. А мне нужен и душ, и белый кафель и блестящие никелем сантехнические устройства. Мне нужно время от времени споласкивать себя горячей водой, иначе я покрываюсь крокодильей чешуей. А покрываться крокодильей чешуей – это ужасно мучительно. Представьте, каково мне будет стать в одно мгновение крокодилком в бугристой твердой чешуе! При том, что до этого я был человеком. До сих пор не понимаю, как я провел чуть ли не целую неделю на вокзале и до сих пор не покрылся крокодильей чешуей! Наверное, сказалось, положительно сказалось, общее эмоциональное состояние. Состояние ожидания перемен. Ведь я надеялся на эмоциональный бросок. Но в кутузке его не будет. Точнее, наоборот, будет ожидание гибели, гормон мрака. А это совсем другая история. В кутузке-то как раз вернутся ко мне все те эмоции, которые были у меня в нашем Лефортово. Только в удесятеренном, в усиленном, смертельном числе. Мрачные, губительные, темные эмоции развернутся в кутузке в удесятеренном числе, развернут свои знамена, свои полки и ринутся на меня в атаку, и прикончат меня. Это точно!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.